

# Часть I. Листья на дереве

## 1. Одно воскресное утро

Солнечный лучик заплясал по моей щеке, перебрался на глаза и нос. Ещё утро, а он, этот лучик, уже горячий. В носу защекотало. Так сладко и дремно здесь, на чердаке (мы с братом всегда летом перебираемся ночевать сюда, можно и с вечера погулять подольше, а утром поваляться подольше). Но ласковый мамин голос зовёт: «Пауль! Альбин! Пора вставать!»

Какой же сегодня день? На каникулах в июне всё как-то легко перепутывается, хоть мы, школьники, и работаем в колхозе, помогаем и на полях, и на скотном дворе.

Да! Но ведь сегодня же воскресенье! 22 июня! Мама с бабушкой приготовят на обед что-нибудь вкусненькое: может быть наваристый борщ, или курицу с тушёной картошкой, или галушки с капустой, а на десерт сладкий штрудель... Пальчики оближешь! Я так это всё люблю!

А завтрак у нас чисто немецкий: кипячёное молоко с мамалыгой. Хорошо, что здесь, в Поволжье, кукурузы так же много, как и в том

---

\* Публикуется в сокращении.

селе под Одессой, где я родился. Да и здесь, в Немецкой республике на Волге, мне тоже хорошо. Мы же все немцы: папа с мамой, бабушка с дедушкой, я с братом. И вокруг нас почти все немцы.

И село Варенбург Куккусского кантона тоже немецкое. И от Энгельса, столицы нашей Немецкой республики, не так далеко. А тот самый Энгельс -это же наш главный вождь. Он с бородой, но тоже немец, как и все мы. Только мы без бороды. Его портрет всегда на демонстрациях носят. 7 ноября и 1 мая. Иногда сразу четверых вождей на одном шесте: двое старших и двое младших. Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом – и Ленин со Сталиным.

И такая погода прекрасная у нас нынче на 1 мая была: солнце, зелень уже первая! У всех радость бурлила. И энергия какая-то, напор, что ли, жизненный: подпрыгни немножко и по воздуху полетишь!

Но все эти тихие полусонные размышления вдруг как ветром сдувает: Алька уже встал и сдёрнул с меня одеяло: «Быстрее, Пауль! Все уже встали!»

Ну вот, видимо, я опять последний. Даже совестно. Немного, впрочем. Да и спешить-то некуда. И папе сегодня на работу не надо: он учитель в школе.

Завтракаем не спеша, кушаем спокойно. Ох, какое вкусное молоко! Мы берём его у наших соседей. Коровы у них ходят, что генералы, сытые, важные, даже нарядные какие-то.

Бабушка с дедушкой уже ушли с утречка во дворе прибираться. Домик у нас стоит на окраине села, маленький, на две комнаты всего. В одной (той, что поменьше) обычно спим мы с братом Альбином (Алькой), в другой все старшие. Она попросторнее нашей, но всё равно для четверых маловата.

Зато за домом благодать: и клумбы с цветами, и грядки с овощами, и деревья фруктовые– абрикосы, яблони, груши.

Папа взглянул на большой бак для воды, потом на меня и чуть брови поднял. А у меня уши прямо-таки вспыхнули от стыда. Я же отвечаю за воду в доме: её всегда должно быть много! И как же я запомнил вчера вечером?! Заигрался с друзьями в футбол допоздна, так было здорово!

Ну да ладно! Всё! Вперёд! Хватаю свое немецкое коромысло и бегом по улице в сторону Волги. Там, у оврага, большая колонка артезианская.

Мишка, мой друг, всегда меня дразнит из-за этого коромысла. А мне оно очень нравится: и для плеч выемка удобная, и ведра на ремнях с железными крючочками так хорошо висят, ни капли не расплещешь. Я пробовал носить воду русским коромыслом, плохо получается: полведра сверху выплеснешь, пока донесёшь. А у Мишки с моим немецким коромыслом ничего не выходит.

Я задумываюсь на мгновение: ведь разницы-то никакой в том, что я – русский немец, а он, Мишка, – просто русский. Он зовёт меня Пашкой, и мне это имя тоже нравится. Это ведь всё неважно: мы же все – советские люди! В первом в мире рабоче-крестьянском государстве! У нас все люди равны! И в газетах пишут: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Помню, как хохотали гости (в прошлом году папа пригласил своих школьных коллег-учителей) после того, как я внезапно брякнул (когда речь зашла о нашей немецкой школе): «Мама и папа – немцы, а я – русский!»

Смеялись от души: они все тоже немцы, в немецкой же школе-семилетке работают. И мой папа там же. Он, кстати, по-русски хорошо говорит, хотя и с заметным акцентом. Родился и вырос он в немецкой

колонии под Одессой. И я там пошёл в первый класс и проучился целых два года. Четыре класса там окончил и Алька. Но школа-то там была русская. Вот поэтому мы все и говорим хорошо по-русски.

Почему мы в 37-м году переехали сюда, в Поволжье? Это я плохо понимаю, только догадываюсь.

Папу там очень уважали: «Генрих Николаевич то... Генрих Николаевич сё...» Он же директором школы был. Мне показалось странным (даже смешным), когда один старик-сосед как-то сказал ему: «Ты, Генрих Николаевич, учитель от Бога!» Непонятно, ведь Бога же нет!

Хотя, конечно же, я чувствовал: про папу сказали что-то очень хорошее и несомненно по заслугам: ведь папа проработал в школе 25 лет, четверть века! Он родился еще в прошлом (XIX) веке, в 1896 году, выучился, выбился в люди ещё при царском режиме и в минуту отдыха иногда торжественно говорил нам с Альбином: «Вырастим вас, дадим хорошее образование, а мы с мамой будем тихонько жить – на мою учительскую пенсию».

Да... Наверное, я всё же чего-то не понимаю! А ведь уже пять классов окончил. Большой вырос, почти взрослый, 13 лет.

Вода плещется, солнечные зайчики в ней пляшут и бликуют. Знойно и душно, солнце палит уже, хоть и раннее утро, нещадно.

А мне нравится! Сухой жар от земли ползёт под штаны на лямках. И мысли текут плавно в такт моим шагам, без запиночки. Так легко и приятно идти по этой дорожке, даже мелкие камушки не мешают.

Так всё-таки почему мы оттуда, с Украины, уехали? Мама сказала один раз: «Кому-то наш папа дорогу перешёл». А потом пришло то письмо от дяди Карла, папиного брата из Одессы. Папа после этого просто почернел как-то сразу. Мама всё ходила за ним, успокаивала.

Оказалось, что двоих папиных братьев арестовали в родном селе и куда-то увезли. И писем от них не было. «Без права переписки». Это как? Наверное, им просто почтовых конвертов не дают? Ведь за руку-то не привяжешь, если человек захочет весточку домой послать? И они, дядья, все же не где-нибудь на необитаемом острове находятся, а в тюрьме, в каком-то, значит, большом городе. Однако пропали, как в воду канули. А за что?

Вот дядя Карл и написал папе: «Чего ты ждёшь? Срочно уезжай, и подальше, на Волгу! А то следующим будешь ты!» Ну, мы и поехали. Всё бросили. И какое-то сковало нас всех тогда молчание тяжёлое, страшное, как будто в воздухе оно повисло. И время шло медленно-медленно, как в кошмарном сне. Все чего-то боялись. Даже говорить друг с другом, и с окружающими, а особенно с незнакомыми.

Спали мы на полу, сидели на груди чемоданов, тюков, сумок. Ладно, что здесь, на Волге, в центре кантона (района), папина двоюродная сестра живёт – тётя Амалия. У неё мы и остановились на первых порах. Папа долго в роно ходил, просил назначения на работу. Наконец, его направили сюда в Варенбург. Правда, под жильё дали домик на окраине маленький, неказистый, но зато огород при нём большой. Часть грядок на нём – это мой «ботанический уголок». Здесь я своими руками выращиваю разные овощи, и, надо сказать без похвальбы, очень даже успешно. Особенно хороши у меня лук и тыквы. Все говорят, что из меня толковый агроном получится.

Но пора вернуться к реальной жизни! Сколько же я хóдок-то за водой сделал? Пять или шесть? За размышлениями всякими со счёта сбился. Вроде уже все баки и бочки налиты. Ну, в последний раз схожу, чтобы и в вёдрах вода осталась.

Село наше красивое. За ним – голубая лента Волги, за ней – яркие, зелено-золотистые поля, ещё дальше – сухая жёлтая степь. Вдоль дороги – огромные тополя. Они посажены здесь ещё при царице Екатерине Великой. Между прочим, она ведь тоже из русских немцев была.

А еще у нас очень чисто. И это потому прежде всего, что все мы, сельчане, чистоту любим и поддерживаем. Улицы сами подметаем, водосточные канавы регулярно чистим, они проложены всюду и ведут прямо к Волге.

Кстати, в бывшей лютеранской церкви (кирхе) над алтарём можно ещё прочесть по следам от сбитых букв: Ehre Gott in der Höhe («Честь Бога – в Высоком»). Как это понять? Неизвестно.

Сейчас в этой кирхе – клуб. Когда кино привозят, мы всей компанией (Мишка, Тео и я) обязательно прибегаем сюда. Народу бывает не протолкнуться! На экране наши самолёты и танки – самые сильные в мире!

Я, наверное, в танкисты пойду, а брат Алька (ему уже 16 лет) собирается в Горный институт поступать, вот папа и перевёл его в русскую школу. После немецкой-то школы куда поступишь? Только в местные вузы или техникумы. А в них только учителей и агрономов разных по сельскому хозяйству готовят. Скукота!

Уф-ф! Конечно, «приятное» это занятие воду носить, но, как говорится, «хорошего – понемногу». Всё! Шабаш! Неплохо бы и на Волгу сбежать окупиться!

Да где там!

«Пауль! Пойдёшь со мной воду для полива возить! Жарко, табак сохнет». Это мама зовёт. Колхозный бригадир пришёл, маму с соседкой заставляет даже сегодня, в воскресенье, на работу выходить.

Я бы, конечно, лучше на Волгу подался. Но надо так надо! Ведь маме без меня с быками-тяжеловозами не справиться! Они огромные, ленивые, упрямые. Иногда встанут и ни с места. Я тогда подхожу к ним, пошепчу на ухо, почешу шерстку, поугувариваю, они снова и пойдут! У других возчиков так не получается почему-то.

Вот и соседка тётя Марта пришла. Их с мамой обычно вместе назначают на разную работу. Так что они уже без слов друг друга понимают. А парит-то как! Ни облачка! Небо – синющее!

## 2. Большая гроза

Вот и наш колхозный пруд. Пиявок в нём – ужас! И всех надо отпугнуть, обобрать.

Так, все бочки наполнены, теперь едем на табачное поле, за село. Ах, сколько здесь запахов! Благоухание! Под Одессой степь совсем не так пахнет. Чабрец, полынь – это мне с детства знакомо. У меня эти запахи куда-то в самую серединку головы проникают и сердце веселят. Здорово! А ковыль как колышется под ветром, будто море!

Ах, море, море! О нём я тоже часто вспоминаю. Когда я еще совсем маленький был, мы ездили как-то на одесские лиманы. Так там даже воздух солёный!

Мама говорит, что здесь, на Волге, ей от белой акации «голову сносит». Смешная! Ну, как это можно «голову сносить»?! Она же на плечах-то твёрдо сидит!

А мне больше всего жёлтая кашка нравится – цветок такой, его ещё «медовником» называют. Сам по себе цветочек маленький-маленький, а запах от него удивительный, на самом деле медовый.

В конце мая я однокласснице своей Ане Цицер положил незаметно букетик в парту. Так она потом пол урока головой с косичками как пропеллером вертела, всё искала, кто же это сделал? А я и глазом не повёл. Не зря мама говорит: «Застенчивый».

Ну и ладно! А мне просто смотреть на Аньку нравится, да и за косичку её иногда дёрнуть. Она такая смешная, эта девчонка!

Эх, хорошо! Арба поскрипывает, вода в бочках плещется, пара быков шагает и шагает себе мерной поступью.

А вот и табачное поле. Рассада принялась удачно, кустики табака уже здорово подросли. Но если сейчас их не полить, всё завянет. Втроём-то мы быстро управились. Но кто же с утра-то поливает? Пользы от этого мало, лучше бы вечером. А тогда быки будут заняты другим делом, так бригадир сказал. Что ж, начальству виднее

Жарко! У меня затылок аж дымится, наверное, фуражку в спешке забыл дома. А на небе – синем-синем – лишь одно белое пушистое облачко, да и то вдали. От солнца пышет как из печки.

Но вот откуда ни возьмись, появляется облачко уже больше и быстро-быстро приближается к нам. Тётя Марта посматривает на него и почему-то с тревогой. «Всё, – говорит, – поехали назад!»

А облако уже тут как тут, прямо над нами! И большущее же оно! И вдруг потемнело! И закружилось какими-то иссиня-чёрными вихрями, как тот чёртик, что из дедушкиной табакерки выскакивает. И тут же сверкнули сразу две молнии, будто лестница с неба прочертилась! И ударило где-то в землю, совсем неподалёку, оглушило просто.

Я, честно сказать, если и не испугался, то как-то растерялся. А тут ещё одна молния жახнула прямо в дерево, почти рядом. Словом, страшная гроза началась. Да так внезапно. Никогда я такого прежде не видел. Ладно думаю – не трусь Петрусь! Так у нас сосед любит говорить, дядя Саша.

И тут что-то мне по темечку как лупануло! Больно же! Оказывается град! Быки замычали и встали намертво. А мама мне на голову деревянное ведро надела, и мы полезли под арбу скрываться от града. Тут и дождь ливанул, да сильнющий, как из ведра. Правда, длился недолго, всего минут пять.

Выбираемся мы из-под арбы, а вокруг сплошь градины лежат. Как снег, чуть ли не по щиколотку. Mein Gott! (Боже мой!) Вот это да!

Мама говорит, что такой ужасной грозы она в жизни никогда не видела. Тётя Марта успокаивает её: «Здесь так бывает. Но редко, один раз лет в пять».

У тёти Марты прадеды приехали сюда из Дармштадта. («Это небольшой город – почти в центре нынешней Германии», – так папа говорит.) Приехали они в дальние времена, может, ещё при Екатерине Великой, то есть где-то во второй половине XVIII века. Открыли здесь, в Варенбурге, склад товаров. Ведь и название-то села по-немецки Warenburg – означает «Город товаров». А колонистам эти товары были ой как нужны! Я бы, к примеру, на их месте взял и купил в первую очередь ружьё. И в степь, на охоту.

Я, между прочим, давным-давно (и уже не раз) стрелять пробовал, в тире. Папа даже как-то удивился, что я так метко стреляю. «Глаз у парня хороший, “ворошиловский стрелок” будет!» – сказал тогда папе хозяин тира (инвалид Гражданской войны, кстати: он, говорят, в Чапаевской дивизии служил, в ней было немало поволжских немцев).

А гроза то и кончилась так же внезапно, как и началась. Добрались мы, наконец-то, до дома. Перед этим быков поставили на скотный двор отдыхать до вечера. Тут и нам бы пообедать самое время! Бабушка уже

издали рукой машет. И папа тоже дома, отлучался на время по каким-то своим делам и только что вернулся.

Вдруг видим: бежит к нам по дороге сосед Александр Петрович. Обычно тихий такой и степенный, а сейчас он на бегу кричит папе во всё горло: «Генрих Николаевич! Война! Война!»

Мы все на своём дворе аж подпрыгнули и рты разинули. А он, сосед, в калитку ввалился, рот открывает, судорожно воздух хватает. И ничего толком сказать не может. Папа хлопывает его по плечу, успокаивает, спрашивает: «С кем война-то? Снова с Финляндией?»

Тут Александр Петрович, немного отдышавшись, и отвечает: «Да нет же с Германией!» Папу даже перекосило: «Не может быть! У нас же с ними пакт о ненападении, на 10 лет!»

Мама всегда говорит нам, что папа у нас настолько глубоко порядочный человек, что в непорядочность других просто не верит: «Всё-то у него рационально, логично, и мысль течёт правильно. А в жизни...» Тут мама грустно улыбается: «А в жизни-то по-всякому бывает: то понос, то золотуха...»

Папа с Александром Петровичем прошли в наш домик. И Альку с собой взяли. Мне видно, как они там руками машут, рассуждают. Мы с мамой во дворе. Бабушка с дедушкой где-то далеко, в конце огорода.

А мне всё же обидно, я ведь тоже уже много чего знаю и понимаю. Чего войны-то бояться?! Да разобьём мы этих фашистов в пух и прах! Это всё Гитлер, он наш Советский Союз ненавидит. Нам на уроках в школе раньше говорили, что он, Гитлер, всех германских коммунистов в тюрьмы посадил. К тому же наш Сталин – самый мудрый, он быстро войну выиграет, ещё до осени. Недаром ведь в песне поётся:

Чужой земли ни пяди нам не надо,  
Своей земли ни крохи не дадим!

И припев там просто здóровский:

Гремя огнём, сверкая блеском стали,  
Пойдут машины в яростный поход,  
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин  
И Первый маршал в бой нас поведёт!..

А потом мы с друзьями после кино ее на всю улицу горланили.

Эх, мне бы сейчас ту чудесную курсантскую форму, как в кино! А какие там кожаные куртки с хрустящими новенькими ремнями! Я бы так этим гордился, а все знакомые и незнакомые ребята мне бы завидовали. И девчонки бы тогда с восхищением на меня смотрели! Ну, это уж понесло меня куда-то не туда.

У нас ведь ещё и Ворошилов есть, и Будённый. Во всех журналах перед кинофильмами про них показывают.

Так что ерунда! Японцев разгромили на озере Хасан? Разгромили. И Гитлера разнесём в клочья! Мы же самые сильные в мире! А жизнь у нас такая хорошая, никому её не отдадим!

Но отчего же у мамы слезинки на глазах? «Не плачь! Ну, пожалуйста, мамочка!». Она у нас очень добрая, наша мама, но вот много чего и постоянно боится. А бабушка зачем-то схватила сумку и в магазин побежала. Лишь сказала: «Спичек и соли куплю!» Но ведь у нас и так полно всего этого добра! Наверное, забыла – старенькая уже.



Интересно, а когда мы теперь обедать будем? Я видел, бабушка зеленый суп варила и кислую капусту тушила. Мое любимое блюдо, да еще если со сметаной и пампушками!

А после обеда надо бы всё-таки успеть сегодня и на Волгу сбегать.

### 3. Наш папа

Папа, как мне кажется, был всегда. Он такой спокойный, уверенный, всегда справедливый и точный. И ещё от него ко мне всегда веет каким-то душевным теплом, мягкой нежностью. Я это очень хорошо чувствую. Недаром лет до шести у меня в голове словно жили двое «я». Одно – моё, а другое – не знаю чьё. Они, эти «я», встречаются, но друг друга не любят. Я даже хотел маму спросить как-нибудь: почему это так, и у всех ли это бывает? Но она вечно занята чем-то, всегда на бегу. А для такого разговора надо ведь спокойно и рядом посидеть, в глаза маме посмотреть, положить свою руку на её тёплую ладонь.

Потом, в классе, наверное, втором-третьем, это «раздвоение» у меня прошло и как-то сразу. Моё «я» вновь стало единым.

А ещё бывает (правда – лишь изредка): гляну на что-то, и внезапно в голове всплывает «картинка» из какого-то далёкого (или даже очень далёкого) будущего.

Вот, скажем, стою я в Москве, у стен Кремля, будто старый я уже, вокруг – штандарты и флаги разные, а рядом – мужчина: высокий, седой, лицо испитое, глаза хитрые татарские, заплывшие, видимо, такой же старик, как и я, ровесник мой. И что-то он мне такое хорошее говорит. А все вокруг шепчутся: «Президент! Президент!» Кого он мне напоминает? Уж очень знакомый. Но тут – бах! и обрывается «картинка», ни начала, ни конца...

А случаются и «картинки» про то, что уже когда-то сбылось. Ну, например, однажды колхозный бык на меня ринулся, вечером, на улице, прямо напротив нашего дома. Не знаю, куда этого быка гнали и зачем, но вид у него был действительно ужасный: рыжая громадина, глаза кровью налиты, в губе – железное кольцо, а из губ пена клочьями. И вот это чудище рванулось вдруг с цепи да так, что земля под ним задрожала! И прямо на меня мчится! А рядом палисад дяди Якова. Я, как пушинка, через забор перемахнул. И присел за ним, спрятался. Бык рядом пронёсся, даже горячим духом своей шерсти меня обдал.

Всё это, кстати, я видел год назад, когда мы с пацанами за колхозным стадом смотрели на том берегу, за рекой. Внезапно пронеслась в голове «картинка-видение» и пропала, растворилась.

Рассказал я все эти истории Альке: он же у нас «самый умный», сплошной отличник и спортсмен хороший. Но брат только поморщил свой короткий носик (у меня и то побольше) и отрывисто произнёс: «Визионер!» Я и не понял: хорошо это или плохо? Алька всегда вот так, считает, что я рассеянный, замкнутый и не сосредоточенный, в общем, неуправляемый какой-то, «так себе». Обидно! И не так это вовсе и вообще! Да, может, мне иногда не хватает трудолюбия и сообразительности, но зато я старательный и упорный, как и все в нашей семье, в том числе, конечно, папа.

Он с отличием окончил немецкую школу, потом немецкое педучилище. Одинаково хорошо говорит по-русски и по-немецки. Даже статьи пишет в наши местные немецкие газеты. Правда, в разговорной русской речи немецкий акцент у него всё же заметен.

Вообще-то у нас в дальних заречных кантонах по-русски мало кто говорит. Нужды особой нет: вокруг же почти все немцы. Так что и в семье, и на улице, и в общественных местах разговор только по-немецки. Но папа твёрдо считает: чтобы нам с братом учиться дальше (в иногородний институт, к примеру, поступить), надо русский язык хорошо знать! Нет без него дорог впереди! Потому-то он и перевёл Альку (сразу же после 6-го класса) в русскую школу. Тот, конечно, после этого здорово по «руссишу» подтянулся, но всё же, когда домашнее задание по математике делает, цифры-то по-прежнему прищёпывает по-немецки.

Ещё наш папа очень чистоту любит. У него на костюме никогда ни одной морщинки не бывает, а на сапогах и штиблетах – ни одной пылинки-соринки.

Я просто восхищаюсь его умом. Он так логично и стройно рассуждает и всегда всё видит далеко вперёд. Он для нас как большое раскидистое дерево, при любой грозе стоим под ним и не мокнем.

И главное, он всегда справедлив сам и безусловно верит в честность других людей. Вот однажды (мы тогда ещё на Украине жили) поздно вечером ввалился в наш дом сосед дядя Остап. И к папе в ноги:

– Генрих Николаевич, Христа ради – одолжи 100 рублей! Никогда больше тебя не потревожу!

Папа спрашивает:

– А для чего они тебе?

Тот отвечает:

– Продулся я в дым! Надо бы отыграться!

Там мужики (русские и украинцы – в основном) вечерами (а чаще – ночами) по баням в карты резались. Случалось, спускали всё до нитки: и деньги, и вещи, и скот – овец, свиней, даже коров...

Вот папа и говорит Остапу:

– На игру денег не дам!

А тот встаёт с колен и уже спокойно так заявляет:

– Тогда я сегодня погибну, и ты будешь тому виной!

Папа помолчал, потом сходил в другую комнату, вынес 100 рублей, вручил их Остапу и сказал:

– Больше ко мне не обращай! Никогда!

Ну, сосед деньги схватил и бегом по своим картёжным делам. А на следующий вечер вновь приходит к нам весёлый, достаёт из кармана целую пачку денег и протягивает её папе:

– Возьми, Генрих Николаевич! Благодаря тебе я много выиграл!

Папа головой покачал, выбрал из пачки несколько бумажек – ровно 100 рублей, сказал:

– Больше за деньгами не приходи!

Повернулся и вышел. Остап как-то криво ухмыльнулся и тоже ушёл...

– Деньги с игры никогда впрок не идут! – это уже мама потом так сказала. Она у нас тоже мудрая, но совсем по-иному, нежели папа. А дело-то в том, что осенью того же года утонул дядя Остап: возвращался на лодке со своими приятелями (тоже картёжниками) из-за реки, были они все, надо думать, «изрядно выпивши», лодка перевернулась, и... Кто-то выплыл, а кого-то, как и Остапа, «Бог не помиловал» (так наша бабушка Эмилия считает).

Как бы там ни было, а жилось нам на Украине очень даже неплохо: папа ведь там директором школы был. Может, и зря мы сюда, на Волгу, переехали? Кто знает?



А впрочем, нам и здесь не худо: чего жаловаться?! Вот какие огромные у меня тут тыквы растут!.. Домишко маловат? Ну так что ж, дело наживное. И не семеро по лавкам у нас. Не то что в других семьях – по пять и более детей. Да ещё разные родственники. Хотя это тоже одна из немецких традиций: жить совместно несколькими поколениями, давать приют близким, если они в том нуждаются. Вот с нами, скажем, живут бабушка и дедушка. В семье моего друга Тео – сестра мамы с сыном. У Эвальда (ещё один мой приятель) – тётя папы, у Карла тоже (как и у нас) бабушка с дедушкой (только по папе) и дядя Ганс. В среднем в каждом домике обитает не меньше шести человек. Так вместе-то жить и веселее, и интереснее, правда, ведь? Люди-то разные, и каждый свою думку, свою всячинку привносит. Кто-то в шахматы играет, кто-то рыбак заядлый. У нас вот бабушка – отличная портниха. Словом, каждый дом полной чашей. В тесноте да не в обиде!

Кроме всего прочего, наш папа очень любит пошутить, но не над кем-нибудь лично, а так – вообще, чтобы все смеялись и при этом никто не обижался. Когда мы с ним, к примеру, приходим вечером к нашим русским друзьям (это на другом конце села), он стучит в окно и громко так говорит: «Тётя Варя, открывай ворота, немцы пришли!».

Ну да ладно, что это разбросался я мыслями обо всём на свете! Пора бы и на Волгу сбегать пока ещё светло! Вон и Тео своё «железное колесо», сам его из негодного металлического прута смастерил, катит по дорожке, вдоль дороги как раз по направлению к реке. Прекрасное у него колесо! Я тоже сотворил такое, но у меня похуже получилось. А Тео просто прирождённый механик. «У него в руках всё горит», – так моя мама говорит. И опять для меня непонятно: как это железо может «в руках гореть»?..

Вслед за Тео бежит Лиля, сестрёнка его младшая. Ей всего пять лет. Она ещё и с куклой в руках, на ходу с ней нянькается. Эту куклу Лилькина мама сама сшила из воротничков полосатых. Глаза и нос у самодельной красотки нарисованные, волосы из пакли какой-то. А в магазине нашем фабричных кукол почему-то не продают.

Ну нет, Лильку мы на реку не возьмём! Попробуй, усмотри там за ней! Да и не покупаешься, не поплещешься всласть при такой-то обузе.

#### 4. Мама и её родители

Мама у нас всегда спокойная и бесконечно добрая. Я от неё за всю свою жизнь ни одного громкого слова не слышал. Она и с папой никогда не спорит. Просто скажет что-то своё, а потом незаметно как-то по её словам всё и выходит само собой. Это удивительно!

Она худенькая и очень подвижная, не помню её сидящей без дела. Может быть, она не такая уж и красавица, но чудеснее для меня никого нет. Да ещё когда принарядится к какому-нибудь празднику или семейному торжеству! Особенно нравится мне мамино синенькое платье в белый горошек, так оно идёт к ярко-голубым её глазам!

Волосы у мамы светленькие, у папы – тёмно-русые, а вот я почему-то – немного рыжеватый, да ещё и с конопушками на лице. Беда! Наверное, поэтому-то девчонки на меня внимание и не обращают.

А вот Алька, он тоже беленький, в маму, так на него девушки всегда как-то ласково смотрят, первыми заговаривают, и когда они с ним воркуют, голосочки-то у них мягкие, нежные, глазки мечтательные...

Ой, вечно я всякие пустяки замечаю, а по-настоящему серьёзные вещи мимо глаз и ушей пропускаю!

Ну так вот, всё равно мама меня больше любит! Так мне кажется, по крайней мере.

Родилась она давно ещё при царском режиме. Сколько-то там классов гимназии окончила, но мало, два или три. А тут революция случилась, война, разруха. Дедушка Мартин со своего завода ушёл, он там каким-то знатным мастером по металлу был. Мама же младшая в семье, у неё ещё трое старших братьев родились. Но пока дедушка на заводе работал, для неё даже гувернантку нанимали и дом снимали большой. Видно, простым рабочим тогда немало платили? Как-то это всё теперь не совсем понятно.

А дедушка у нас самый настоящий «мастер золотые руки». Он и сейчас может из металла сотворить всё, что угодно: ключи всякие изготовить, детали мелкие для колхозных машин выточить и многое другое. У него в сарайчике станочек стоит, инструмент весь по стенам аккуратно развешан. А глиняный пол там красиво так изукрашен: это они с бабушкой откуда-то два ведра цветного песка принесли, узоры им выложили, потом полили, и получилось что-то вроде мозаики, как на полу в бывшей кирхе, где сейчас кино показывают. Здорово! Красота!

А за сарайчиком этим (в маленьком пристрое) дедушка гроб для себя хранит. Сам его сколотил, выточил ручки к нему и украшения всякие – всё из хорошей древесины. Я случайно как-то в пристройку заглянул и ужаснулся в полутьме этому страшному ящику. И сейчас «дедушкин» сарайчик стороной обхожу.

У бабушки же в этом чудном сарайчике тоже есть свой уголок, там её швейная машинка «Зингер» стоит. На ней бабушка для нас почти всю одежду шьёт. В магазине же местном ничего подходящего не найдёшь. Ну вот, а бабушка насобирает разных там воротников, отрезков, того, сего, прикинет, раскроит, поколдует у своего «Зингера», и выходят из-под её рук такие вещи – залюбуешься! Вот сейчас на мне короткие штаны на лямках: это бабушка сшила из «чёртовой кожи». Сила! Никаких дыр на этих штанах не бывает, очень прочная ткань, даже повиснешь на ней (на заборе, к примеру), не порвётся! Кусок этой старинной ткани одна соседка подарила бабушке за сшитое шикарное платье с розами, такое, что все в округе только удивлялись да ахали.

А ещё бабушка прямо-таки чудесные настенные коврики и оконные занавески для нашего дома изготовила. Так у неё всё аккуратно, опрятно, красиво получилось! И душевно! Gemütlich (от Gemüt – «душа»)! В русском переводе это слово значит «уютно», но тут всё-таки не совсем то выходит, что по-немецки. Какое-то оно делается маленькое, узенькое. А немецкое слово большое, широкое, означает «душа радуется».

Однако, поздно уже, хватит мечтать! Пора бежать в очередь за хлебом. Что-то в июле они, эти очереди, слишком длинными стали. С утра там Мишка стоит, в обед Тео, а после обеда – моя смена. Но продавать хлеб в нашем магазине начинают не раньше четырёх часов, то есть уже ближе к вечеру. А голод – не тётка. И тот же Мишка, когда домой не спеша идём, всю аппетитную поджаристую корку с конца буханки подбедает. Вкуснятина же! У меня тоже просто слюнки текут. Но стоп, держи себя в руках! Мама-то ничего не скажет, а вот папа посмотрит сурово и хмыкнет неодобрительно. Вот поэтому и нельзя!

## 5. Безмятежное лето

И покатилося лето – как по маслу! Война где-то далеко-далеко идёт. Хотя первые эвакуированные и беженцы появились у нас уже в июле.

Мы с Алькой, как обычно, и на домашнем огороде помогаем, и на колхозные работы с мамой ходим. Дел по горло.

Впрочем, и свои мальчишеские забавы не оставляем. Мне, например, особенно нравится с мячом играть: он маленький такой, резиновый, перекинешь его через ногу, через руки и бросишь со всей силы, а Мишка должен поймать его на свою палку-биту и садануть, куда подалее. Если, к счастью, промахнётся по мячу, тогда мой выигрыш!

И в воде мы как рыбы, все смуглыми стали от загара, тела блестят на солнце, чистая бронза говорят.

А вот на рыбалку не удалось сегодня сбегать, с самого утра ходили на колхозную бахчу арбузные плети песком присыпать. Ветер же сильный, а у самых корней арбузные плети совсем слабые, может их ветром напрочь оторвать. Вот мы и проходим по рядам, каждую головку такой плети кучкой песка покрепче приминаем, чтобы ветром-то не вырвало. Работка не из весёлых! А сзади к тому же наш бригадир, дядя Эвальд, идёт и постоянно подзуживает, мол, плохо, неаккуратно работаем. Ну, он всегда такой, вечно брюзжит, иногда сильнее, иногда потише. Наверное, оттого, что язва у него. Так, во всяком случае, тётя Марта маме сказала. Она очень насмешливая, эта тётя Марта.

А песок жжёт, просто как зола горячая, сил нет голыми руками с ним возиться! И в мои дырявые сандалии он тоже набивается, словно по тлеющим углям бреду. Сколько же ещё терпеть эту муку?! Бахче-то вон ни конца ни края не видать.

– Пауль, как ты думаешь, когда война закончится? – это Тео спрашивает. Он рядышком держится, но тоже из последних сил уже. Он иногда даже более задумчивый, чем я.

– Да откуда я знаю? Но скорее всего к зиме. Ведь смотри, у фашистов же валенок нет? Нет! Так как же они будут в морозы-то воевать? Гиблое их дело!

Ну, это я так брякнул первое, что в голову пришло, не подумав. Тоже стратег!

А вот Алька все сводки Совинформбюро по радио слушает и на карте у нас в комнате разные фишки прикалывает. Я в них мало что понимаю. Они же с папой часто (иногда очень яростно) спорят возле этой карты. Алька и тихо говорит, и редко, но папа почему-то раздражается, его что-то сильно беспокоит с самых первых дней войны.

– А знаешь, почему моего брата Георга в армию не взяли? – Тео голос понизил и заговорщически на меня смотрит.

– Нет, откуда же мне знать? Дело ясное, что дело тёмное! – отвечаю.

– Военком сказал, что на его, Георга, военную специальность пока «запроса нет».

Вот те раз! Опять непонятки! Да, Георг только что десять классов окончил, и у него, скорее всего, нет вообще никакой военной специальности. Но ведь и всех остальных немецких призывников из нашего села, что в военкомат ездили, тоже домой возвернули. Ерунда какая-то получается! Русских берут, а наших – нет. А мы же тоже хотим с фашистами сражаться за нашу Советскую Родину! Перца им насыпать, вражинам проклятым, на подлый их язык! Ух, как хочется!

Но это же германские немцы, их чокнутый Гитлер всех обработал! А мы – русские немцы, точнее советские. Мы же в стране рабочих и крестьян! У нас Сталин вождь! Он – самый мудрый, всё знает, из любой беды выручит и к победе приведёт! Он – лучший друг всех советских людей! И детей тоже, и нас с Тео в том числе! Так что не надо зря голову ломать, Сталин разберётся!

Много сёл и городов уже оставили? Ну и что, это, наверное, план у нас такой – заманить врага поглубже в Россию, а затем ударить да покрепче! Я вот так думаю. Сказал об этом Альке, на что получил в ответ: – Глупый ты ещё (Dummkopf)! Так войны не ведутся!

Ага! Ну а как же они ведутся? Кто знает?

Да ладно, всё равно война где-то там далеко, и нам до неё напрямую дела нет. Кому положено, пусть те всё и сделают, чтобы победить. Вон как Финляндию два года назад разделили – под орех! А ведь поначалу тоже вроде не совсем ладно получалось.

Кстати, в начале августа во всех газетах был напечатан большой Указ Президиума Верховного Совета СССР – о награждении группы фронтовиков, и среди прочих там значатся наши немцы: «ордена Красного Знамени удостоен старший лейтенант Альфред Шварц – командир танкового батальона, а орденом Ленина награжден полковник Николай Гаген, командир стрелковой дивизии».

Четыре дня назад, 24 августа, папа вслух читал статью из «Комсомольской правды», «Мы отомстим за тебя, товарищ!» называется. Там рассказывается о подвиге красноармейца, нашего земляка Генриха Гофмана. Этот 20-летний парень, попав в плен, выдержал ужасные пытки, но не изменил военной присяге. Там даже большая фотография была: обгоревший, с пятнами крови комсомольский билет. Фашисты приколотили его штыком к груди нашего воина, а самого Генриха разрубили на куски. Мы с мамой плакали.

Или вот буквально сегодня утром Алька по радио слышал передачу про отважного зенитчика Генриха Неймана, который лично сбил целых четыре германских «Юнкерса».

Алька, показывая нам тщательно собранные им из разных газет вырезки со статьями о подвигах воинов – русских немцев, говорит: «Теперь-то уж точно и всех наших через военкоматы будут в Красную Армию призывать!» Любит он, мой старший братец, всё систематизировать, аккуратно по полочкам раскладывать. Папа коротко и ясно, как всегда, выразился по этому поводу: «Педант!»

## 6. 30 августа

Деньки катятся, словно бочки, наполненные водой: грузно, тяжело, но и без особого грохота.

Пшеница в полях вымахала выше меня! А тыквы и лук на моих грядках уродились как никогда! Все говорят, урожай нынче небывалый! И взрослые, и дети целыми днями на полях.

А уже и август кончается, скоро в школу. Наверное, сразу-то нас учить не будут, заставят ещё и в сентябре на колхозных полях работать. Что ж надо так надо!

Бреду с поля домой к обеду. Ноги от усталости подгибаются немного. Но что же это такое? Наши все на дворе собрались, и лица какие-то траурные. Мама с бабушкой плачут без звука. Я к Альке:

– Что случилось?

А он показывает мне свежую вырезку из нашей местной немецкой газеты Nachrichten («Известия») и говорит:

– Нас всех выселяют. Как «шпионов и изменников». В Сибирь....

Я просто опешил. В голове как будто бомба взорвалась. Даже в глазах помутилось. Как же так?! Мы же – советские люди! Мы самые лучшие и трудолюбивые! Папа обвёл нас взглядом и прервал молчание:

– Пойдёмте в дом – там всё обсудим!

Зашли в комнату. Папа, мама и Алька присели за обеденным столом, а мы с бабушкой и дедушкой на сундуке. Папа сжал голову руками, лицо у него исказилось. Просит Альку:

– Прочти ещё раз!

Тот медленно и чётко зачитывает газетный текст сначала по-немецки, потом по-русски. И вот ведь какое дело: вроде я все слова в этом тексте знаю, а смысла их не улавливаю. «Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа...» Как гром среди ясного неба! Пишут там, например, что поскольку в нашей Автономной Республике немцев Поволжья среди её населения много «диверсантов и шпионов», которые якобы хотят фашистам помощь оказать, то всех здешних немцев надо выселить! А их Республику – уничтожить!

Это как же так?! Это же полная неправда, ложь! Мы же все за Советскую власть и против Гитлера! Мама говорит:

– Марта рассказывала, что на базаре слух ходил, будто сбросили фашисты десант в западных кантонах, а наши немцы в своих сёлах их укрыли. Но потом выяснилось, что это были красноармейские учения. Наших переодели в германскую форму, а местные немцы их повязали всех, поколотили изрядно и сдали властям.

Снова молчание. Словно камень на шею всем повесили. У дедушки веко дёргается. Он же у нас старенький совсем, ему за 80. Наконец, он, прерывая паузу, изрекает не совсем послушными уже ему губами:

– Sei Untertan der Obrigkeit und widersetze dich nicht dem Bösen mit Gewalt! («Будь послушным начальству и не сопротивляйся злу насилеием!»)

И снова погружается в полудрёму. Алька говорит, что это выражение из Библии. А еще у дедушки с бабушкой есть книга с готическим шрифтом, напечатанная ещё до 17-го года, сборник религиозных песен, псалмов и молитв. Дедушка регулярно зачитывает отрывки из этой книги всем нам, по воскресеньям перед обедом.

Тут в разговор вмешивается бабушка и, поджав губы, произносит:

– Donnerwetter! (Проклятие!) Нам этого не пережить! Ещё в ту войну, до 17-го года, при царе, хотели всех немцев из России в Сибирь выселить! Да революция помешала.

Но мы все пока молчим, перевариваем страшную новость. Наконец, папа, раздавленный, как и все мы, такой несправедливостью, собрался с мыслями и начал тихо что-то говорить. Мама поплотнее дверь на двор прикрыла и окно зашторила.

По словам папы:

– Указ нелогичен, все должны отвечать за всех. Круговая порука, как в древности. Но мы же – самые передовые в мире по общественному строю. И Республика у нас – самая первая национальная автономия в Советской России. Существует с 1918 года. А что в Указе утверждают? Что у нас полно «шпионов и диверсантов»? Да если бы они и появились вдруг, мы бы их всех сразу же повязали и пересажали. Но нет же вообще ни одного конкретного факта! Так где же логика?



На это мама печально замечает:

– А много логики в случае с Пактом о ненападении?

Папа раздражённо отмахнулся, вновь впился глазами в газетные строчки – и в недоумении стукнул ребром ладони по столу:

– Ну а это что такое?! Если мы все «диверсанты и шпионы» и нас выселяют, то почему же тогда на новых местах нам землю и всякую государственную помощь обещают за такие-то «чёрные» дела?!

Ещё что-то он там повычитывал, громил в пух и прах. А потом с грустью подвёл итог:

– Дрянь наши дела! И положение наше самое незавидное! Всё это может кончиться полной ассимиляцией русских немцев.

Я спрашиваю:

– Так что же дальше-то будет? Страшно как-то!

Папа ещё более напрягся, даже синяя жилка на виске вздулась. И оборвал меня сердито, как будто отрубил:

– Не надо поддаваться страху, иначе он тебя съест! Будем нести свою судьбу, свой крест достойно! Война предстоит огромная. А мы в ней, как зёрнышко меж двумя жерновами.

И снова я ничего не понял. Мы же – не на мельнице! И не зёрна мы, а люди!..

Тут и Алька своё слово вставил.

– А сколько мы для русской культуры сделали! – говорит.

– Мы же, в сущности, и есть русская культура! Фонвизин, Дельвиг, Кюхельбекер, Брюллов, Даль, Беллинсгаузен, Крузенштерн... А полярик Отто Юльевич Шмидт? Как с ним быть? Тоже выселять?!

И папа молчит...

А бабушка вновь голос подала:

– Надо поросёнка резать и мясо коптить!

И дедушка от дрёмы очнулся:

– Давайте! А я всё быстро закончу – вы только разделайте!

У него это очень аппетитно получается: шпик, копчения разные, колбаски домашние. Ой, у меня даже в животе забурчало. Неудобно, тут такой разговор серьёзный, а я... Пришлось на сундучке поёрзать, чтобы как-то аппетит успокоить.

Между тем папа с Алькой продолжают про нашу культуру рассуждать, какие убытки она понесёт, что с этими землями будет? Но я это всё это уже плохо воспринимал, голова вдруг разболелась, как от угарной печки. И пошёл я на двор. Ещё раньше вышли бабушка с дедушкой, уединились в своей мастерской.

Смотрю я на улицу, а людей там вовсе нет. И какая-то чёрная тоска над селом висит, что-то похожее было во время недавнего солнечного затмения. Мы за ним на займище наблюдали через стекло закопчённое. Луна тогда совсем закрыла Солнце, только маленький серпик от него остался, яркий, горячий... А потом тень всё равно ушла. Может, и сейчас обойдётся как-то? Поймут власти свою ошибку – и всё исправят? А?

Да, но при затмении-то все собаки выли, и коровы мычали. А нынче всё притихло, сжалось, как перед ударом молнии. Страшновато что-то!

Нет, ничего я не боюсь. Ну, напрягаюсь, конечно, сверх обычного, и постоянно дрожит внутри какая-то жилка. Но поддаваться страху, паниковать, ясное дело, не собираюсь! Не дождётесь!

Ведь сказал же Молотов по радио: «Наше дело – правое! И победа будет за нами!»



# Часть II. Унесенные ветром

## 1. Выселение

Мама пришла домой и говорит:

– Нас 13 сентября выселять будут...

И руки у неё словно плети повисли. Хотя она уже не плачет, только лихорадочно узлы вяжет да в чемоданы что-то запихивает.

А папа сообщает:

– Соседнее село уже вывезли, вчера. Солдат туда понагнали, а они всех выселяемых торопили: «Быстрее-быстрее!»

От таких разговоров не знаешь, куда и укрыться. И решил я к Тео сбежать повидаться, а может, и попрощаться. Так и сделал. А у них во дворе тоже хлопоты и суматоха. Родители Тео даже корову прирезали. Семья-то большая, восемь душ, да все мал мала меньше. Это у нас в семье детей двое всего, а так у многих немецких семей на селе по 5-6 малолеток...

Отошли мы с Тео в сторонку. Он мне свеженькую кровяную колбаску притащил – вкуснющая! Аромату на всё село! Вижу, дружка моего тоже тоска гложет.

– А давай, – вдруг предлагает он, – в соседнее село сбегает! Ну, в то, которое уже выселили.

Я охотно соглашаюсь:

– Давай! – говорю.

А тут и Мишка прибежал, грустный какой-то, на себя не похожий. Он-то здесь остаётся, но за нас очень сильно переживает. Родители у него бакенщики, на реке сигнальные фонари по вечерам зажигают, а по утрам гасят. Он и плавает лучше нас всех, да и бежит быстрее. А живёт он за селом на «бакенушке». Избушка у них тоже небольшая, как и у всех нас.

Сначала Мишка просопел что-то себе под нос, а затем подошёл ко мне, руку разжал и говорит:

– Возьми, Паш! Это – тебе подарок! На память!

Смотрю я: а на руке у него – ножик маленький, перочинный блестящий! Так он мне прежде нравился! Я ему, Мишке, за этот ножик и лупу предлагал в стальной серой оправе, и две патронные гильзы от охотничьего ружья. Всё бесполезно, ни за что он на обмен не соглашался. И вот теперь...

– Спасибо! – говорю, а у самого в носу что-то пощипывает.

Ну и побежали мы затем в соседнее село километров за пять от нашего. Дорога-то хорошая, утоптанная, так что и пыли-то на ней немного. Где-то шагом идём, о всякой всячине толкуем, а где-то и вприпрыжку. На какое-то время, кажется, все беды и горести позади остались. Красота!

Потом обратили внимание, что у нашего села вся пшеница собрана и убрана, а у соседей – хлеба в полях в полный рост стоят, и волы с коровами по ним разгуливают, мычат и колосья жуют, объедаются. Людей же не видно совсем. Ну да, их же выселили, по графику, раньше всех в округе. Ничего себе Ordnung («порядок»)!

Плодовый колхозный сад весь в яблоках, ветки трещат, некоторые подломилась уже. Опять как-то странновато стало.

А в низине, у маленькой речки, такие помидоры вымахали в этом году! Большущие, мясистые, сладкие, красивые, как на картинке!

Но одна половина поля убрана, а другая – нет. Съели мы с парня-ми по одной большой помидорине – слаще сахара! Правда, соком забрызгались.

Идём дальше. Вот и село. У домов – бездомные кошки и собаки. Мечутся из стороны в сторону. Кошки мячут, собаки лают.

А тут видим, у одного дома пять взрослых уже девчонок. Стоят кружком, все какие-то испуганные. Мы к ним:

– Вы чего здесь делаете?

Одна из них, та, что повыше других, отвечает:

– Мы студентки – из Ленинградского мединститута. Проходим в Куккусе практику. А сюда нас райком комсомола послал за брошенным скотом ухаживать. Но мы же все городские! Коров доить и вообще ухаживать за ними не умеем. А вы-то кто, ребята?

Мы и сказали, а Тео успокоил девушек, пообещав, что он запросто им всё объяснит и даже покажет на деле. Тут же он притащил ведро, миску с водой, тряпочку. Сходили на поле и привели к дому самую смирную корову. Тео подсел к ней под вымя и действительно всё показал: как соски обмывать, как тянуть за них, чтобы молоко лилось. А бурёнка-то радёхонька, стоит как вкопанная. У неё ведь, у неподоенной-то, всё болит. Ей непременно люди нужны, без них не обойтись. Никак! Вот ведь война проклятая что наделала, всем жизнь перевернула!

Заторопились мы назад, даже яблок здешних не отведали. А они в этом селе какие-то особенные, говорят, из-под Одессы сорта вывезены. «Люсдорфские», что ли? Я плохо названия запоминаю.

В памяти застрекает почему-то: дома стоят пустые, жизнь в них кончилась, коровы и быки бродят по неубранному полю, пшеницу поедают... Тео говорит, что им нельзя этого позволять, они сытости-то не знают, обожрут и попередохнут. Жаль, а сделать ничего нельзя!

Хаос, одним словом.

## 2. 13 сентября

Вот и пришло оно – 13 сентября. И в нашем селе солдаты появились, десятка полтора. Ходят по домам и торопят нас:

– Давайте грузитесь! Да быстрей-быстрей!

А бабушка Эмилия замешкалась, почему-то лишь сегодня с утра хлеба в печь поставила, как обычно. Надо ведь было раньше с этим управляться, вчера вечером ещё, раз уж такое дело – эвакуация! И вот погрузили мы уже свой скarb на бричку, а у бабушки хлеб ещё не готов, не допёкся. Тут и солдат пристал настырный такой, сапогом стучит в дверь.

– Давай, – говорит, – бабка, пошевеливайся! Выходи – нечего больше ждать!

Но бабушка наша молодец, не испугалась, даже не смутилась. Достала она из печи два полусырых каравая, положила их себе в суму, а два других так в печи и оставила.

– Поешьте, солдатики, – говорит, – когда вернётесь!

И председатель нашего сельсовета, Давид Рот, тоже молодец. Он накануне все дома выселяемых обошёл, советы давал:

– Режьте быстрее весь скот, какой сможете, и делайте копчёности на дорогу. Там, на новых местах, неизвестно что будет. Пропадём, если сами о себе не позаботимся.

Вообще-то он, Давид, – человек симпатичный, весёлый, черноусый, поёт хорошо и на аккордеоне играет. Но с чего это он взял, что мы «пропадём»?!

Вот папа наш всё имущество по акту сдал (кроме мебели и книг, их на чердак к русским соседям унесли, у нас места нет). И обещают на новом месте всё по этому акту возместить. Многие и скот сдали, его тоже там, куда приедем, по акту вернут. Советская власть – она ведь справедливая, надёжная. Всегда выполняет свои обещания. Разве не так?

Кое-кто, впрочем (как родители Тео, например, да и многие другие), до самого конца не верили, что их выселят. Всё надеялись, что «власти разберутся, поймут ошибку» – и в последний момент всё отменят, ведь нет же у нас никаких «шпионов и диверсантов»! И только когда уж солдаты появились, тут они суматошно забегали и давай в спешке всё, что под руку попадёт, в узлы и тюки собирать.

А я между тем стою во дворе нашего дома и с грустью смотрю на тыквы, которые сам вырастил: огромные, оранжевые – красота! И вдруг на меня снова накатило: вижу, будто стою на берегу какой-то реки, могучей, быстрой. Она не ленивая, как Волга, а огромно-упругая, широченная. На противоположном берегу – диковинные деревья (у нас-то лесов нет, так что названий этих деревьев я не знаю). Вода сильно тот берег подмыла, и внезапно целый огромный его кусок в реку обваливается – рушится с треском и грохотом. Бух!.. Бам!.. И видение уходит...

К таким штукам я уже приспособился: это – мгновение из будущего. Ни понять его, ни как-то с пользой для себя применить нельзя. Но когда это мгновение происходит в действительности, я его узнаю. В моей памяти хранится около десятка подобных видений. А сбылись пока лишь два. Хотя, как говорится, ещё не вечер, не такой уж я и старый.

И снова возвращается ко мне шум нашей улицы, скрипят повозки, люди плачут. Все выселяемые как-то покорно послушны. Мало кто переговаривается, ругается про себя, вполголоса. В основном молчат. Надо так надо!

Повозки тронулись. Женский плач всё сильнее, навзрыд с родным селом прощаются. Мужчины пытаются успокоить женщин. Кто-то кричит:

– Замолчите! Лучше пойте! Не показывайте этим чертям наши слёзы! Пусть никто не видит нашего горя!

И кто-то робко пробует запеть. Но ничего не получается: всхлипы всё заглушают...

Вот и мы по-быстрому свою бричку загрузили. Каждой семье разрешено везти с собой не больше одной тонны: провиант на дорогу, одежда, постельные принадлежности, кое-какой мелкий хозяйственный инвентарь. Скот, зерно, овощи, фрукты – всё это сдаётся государству. Я уже говорил, папе выдали на этот счёт соответствующую бумагу со всеми там цифрами. Ordnung! Но папа как-то кисло на эту бумагу смотрит.

Возчик у нас русский, из нашего кантонального центра Куккуса. Смотрит на нас с тоской и говорит невесело:

– Кто же нас теперь копчёным мясом и домашними колбасками кормить будет? А молочного как много всего было!

И правда. На рынок-то в Куккусе многие из нашего села продукты со своих хозяйств продавать привозили.

Ну, всё, уселись и поехали, в самом конце общей колонны. Она – длиннющая. Сотни повозок. Кто-то и пешком возле телег идёт. Как будто нашествие какое-то!

Отъехали от села. Плача уже не слышно. Люди молча тоскуют. Да и о чём тут говорить?!

А мне, стыдно сказать, всё это путешествие в неизвестность начинается понемногу нравиться. Благодать ведь кругом, бабье лето! И тёплый поволжский ветер со степи просто душу греет! Он весь напоён ароматами степных трав. Куда там даже самым пахучим домашним цветам! Ничего лучшего в жизни быть не может! Жёлтые листья золотым убором на придорожных деревьях, серебряные паутинки в воздухе висят. А солнышко до чего ласковое!

Тележные колёса мерно скрипят, чуть постукивают. Едем долго, с остановками.

Алька говорит вдруг:

– Ведь у нас в Республике 380 тысяч немцев. Неужели всех выселят? Папа лишь грустно головой качает:

– А в Советском Союзе нас, немцев, миллиона полтора.

Он как-то резко постарел, даже сгорбился немного. А ведь всегда такой прямой, молодцеватый был! За семью ужасно переживает.

Но вот очнулся от своих тяжёлых дум и говорит:

– А какое замечательное село было наш Варенбург! Я старые газеты смотрел. Из них следует, что его основали в 1767 году 149 семейств из Бранденбурга, Пруссии, Гольштейна, Дармштадта.

Тут и мама встрепенулась:

– И у нашего дедушки корни из Дармштадта!

А папа продолжает:

– Через полтора столетия к 1910 году в селе значились уже 784 двора, а в них 4167 «душ мужского пола» и 4173 – «женского»...

Память у папы фотографическая. У меня всё по-другому: «в одно ухо влетает, а из другого – вылетает». Вот и сейчас от папиного рассказа отвлёкся, а в нём, между прочим, немало интересного:

– К тому времени в колонии Варенбург имелись 11 ветряных и 2 паровые мельницы, две маслобойни, две школы. В 1905–1907 годах приглашённые мастера из Латвии и Германии возвели здесь лютеранскую церковь (кирху) – с органом. Храм – загляденье: белый-белый, с колоннами и колокольной. Внутри – великолепный алтарь, обитый мягкой красной материей, так же, как и удобные низкие скамейки перед ним. Во время церковных служб впереди сидели на этих скамьях пожилые люди. Отдельные места для молодёжи, а для девиц – даже особый балкон. Под куполом – три большие хрустальные люстры, они и украшали, и хорошо освещали всё внутреннее убранство. Зимой здесь топили три большие чугунные печи-голландки. Вокруг церкви огромный парк с красивой кирпичной оградой...

Тут опять мама перебивает:

– А в 1932 году кирху закрыли. И печи разломали, растащили на кирпичи. Теперь там зимой холодища, как на улице.

Папа внимания не обращает, сбить его с мысли невозможно:

– А недалеко от кирхи стояла «миллеровская школа». Её построил один из основателей колонии Генрих Миллер, выходец из Гессена. Потомки его потом по всей Волге гремели как крупные зерноторговцы. А село стало сухим и чистым благодаря особой системе каналов, они пересекали все улицы и спускались к реке. Сейчас-то эти каналы

уже частью запущены, заброшены. А тогда жители сами следили за ними и за переброшенными через них мостиками. Ну а в самом центре села располагалась ярмарочная площадь, вся покрытая ковром и с трибуной. Ходить по середине этой площади в будни строго запрещалось. Люди передвигались по прилегающим дорожкам, не срезая углов. Словом, всё очень аккуратно велось.

«Аккуратно» – это одно из любимых папиных словечек, и одобрение, и похвала. Ещё одно их таких словечек – «логично»...

Едем дальше. Долго едем... Вечер скоро. Все порядком подустали: и лошади, и люди. Перекусили немного. Но вот наконец и берег Волги. Здесь ночевать будем.

А народу тут уже – не протолкнуться, множество, из разных сёл. Ждём, покуда подадут баржи, на них загрузят нас всех и дальше повезут. Куда? Говорят, сначала на станцию железной дороги.

Смотрим, а начальники-то наши из кантона тоже тут, среди людей похаживают, что-то объясняют. Но они ведь тоже немцы. Их ведь тоже выселяют. А хотят, видно, и дальше начальниками оставаться.

Мы всё наше имущество с брички сгрузили, разложились кое-как и расположились у небольшого бугорка. Алька побежал дровишек каких-нибудь поискать для костерка. Вроде как всей семьей мы в походе...

Только людей вокруг очень уж много, больше тысячи, пожалуй. И все ходят кругами, разговоры заводят, знакомых встречают или заново знакомятся. А вот и наши соседи по селу неподалёку устроились, тоже пожитки раскладывают: Тео с родителями и всей роднёй от мала до велика, тётя Амалия с дядей Карлом и сыновьями Александром и Адольфом, дядя Филипп с дочерью Эммой и всеми её детьми. Ну и всякие разные свояки, сватовья, зятья, снохи, золовки, шурины, девери... Наша бабушка ворчит:

– Цыганский табор!

Развели мы костерок. Мама на нём что-то разогрела в котелке. Я всё это быстро умял и даже не понял, что там было такое. И обед, и ужин одним махом. А в голове моей, которая не устаёт вертеться по сторонам, одна и та же мысль стучится: «Куда же нас дальше-то повезут?».

Солнце над рекой между тем красиво так закатывается! Какая всё-таки она, Волга наша, огромная и спокойная! Вот это мощь! Мы все рядом с ней букашки, да и только! Ох, как мне жить на этой реке нравится! Слов нет! Вода, гладь, блики, шум волн... Не высказать всей этой красоты!

А люди поужинали кто чем мог у своих костерков, успокоились немного, принялись ко сну готовиться. И вдруг (вначале у одного костра, потом у другого) тихо так сперва старую немецкую песню завели:

Schön ist die Jugend!

Sie kommt nicht mehr!

Ja, ja, sie kommt nicht mehr,

Sie kommt nimmermehr!..

(Хороша юность!

Она больше не придёт!

Да, да, она больше не придёт,

Не придёт никогда!..)

Мы, немцы, все эту песню знаем. И на праздниках семейных, и когда гости приходят, частенько её поём независимо от возраста.

И вот люди как будто от дурной дрёмы очнулись. Гладь речная огромна, и звучание песни летит над этой бесконечной гладью, словно молитва Богу. (Ой, что это я?! Бога же нету, так нам в школе говорили. А я – пионер, как никак, почти комсомолец. Стыд и срам! Ну да ладно, никто же не слышит!)

И подхватили песню у всех костров, так дружно и слаженно, будто заранее готовились к этому хору. Знать, что-то из душ у людей рвётся в этот тихий приволжский вечер, в это бескрайний степной простор.

Я даже не уловил, когда вместе со всеми запел. Но понял вдруг, что пою громко, изо всех сил. И как будто на крыльях поднялся и вместе с песней полетел куда-то ввысь, к мерцающим уже первым звёздочкам. Что-то из меня, из глубины души моей вырвалось тревожное, тяжёлое, и душа освободилась, зазвенела, как невидимая струна...

И ещё одна старая немецкая песня всем нам очень нравится. А мне – особенно:

Wer lebt wohl im deutschen Vaterland? – «Кому живётся хорошо в отечестве немецком?» Эту песню, наверное, тоже двести лет назад наши предки на Волгу с собой привезли. В ней поётся о восемнадцатилетнем парне, который отправился в морское путешествие. Но корабль его, к несчастью, потерпел крушение. Сам молодой моряк спасся, однако попал в плен к пиратам, и они продали его в рабство. Лишь через много-много лет, благодаря одному доброму земляку, который выкупил его из неволи, этот бедолага, будучи уже глубоким стариком, смог вернуться на родину.

Смотрю я на себя, как бы со стороны, и диву даюсь: я же петь-то никогда не умел и не любил. Так что же такое со мной вдруг приключилось? И папа на миг словно помолодел, и мама как-то сразу расцвела. Бабушка с дедушкой очнулись и тоже поют, стараются. Весь наш временный лагерь будто бы на крыльях песни в воздух поднялся и плывёт куда-то ввысь – подальше от этой войны, выселения, страхов... Ничего чудеснее я, наверное, в жизни своей уже не увижу!

Одна песня кончается, и сразу же другую начинаем, и по-немецки, и по-русски, и кое-что из новых советских. И всё слаженно, стройно! Точно слились все в каком-то едином порыве!

Постоял-постоял этот песенный хрустально-воздушный дворец и унёсся куда-то дальше и выше. Устали петь люди, выдохнули и очнулись. Снова несчастные, одинокие, брошенные на берегу огромной реки. Но всё равно, как-то отдохнули душой, сердцем окрепли, что ли. Теперь ко всему готовы. Улеглись прямо на землю у своих костерков. Благо есть что подстелить и чем укрыться. Да и тепло ещё, холода пока не пришли.

Словно медведь в сказочной берлоге, весь наш переселенческий табор поворочался, поворочался с боку на бок и заснул...

### 3. В дороге

Просыпаемся утром, а баржи уже стоят у причала. Когда их подогна-ли, мы и не слышали. Шум, ровный гомон людской над Волгой повис.

С утра был густой туман, но пока ели-пили, постели собирали, всё рассеялось. И солнышко ещё горячо греет.

Пришли люди с барж, показывают, куда нам идти, где размещаться, вещи складывать. Побрели мы все в трюмы, каждая семья в свой угол.



А народу – тьма. Да все взвинченные какие-то, обозлённые, как будто и не пели все вместе вчера.

Семья Тео возле нас располагается. И пространства для них явно мало-вато. Это наш кантональный начальник, Йозеф Шлюнд, их вещи в сторону сдвинул, а для своей семьи вдвое больше места в трюме отвёл. Командует людьми, а те ему подчиняются по привычке. Но тут подошёл к Йозефу дядя Карл и сквозь густые свои усы с напряжением так говорит ему:

– Убери свои чемоданы отсюда, освободи место для людей!

А тот же привык у себя в райкоме на глотку брать. Ну и по инерции заорал на дядю Карла:

– Ты что – порядка не понимаешь? Делай, как я приказываю!

Вот дядя Карл и послал его – на три буквы! Я даже изумился: мы же все – лютеране, и по матерному браниться для нас – грех большой. Только –Donnerwetter! («Проклятие!») или, в самом крайнем случае, –Himmel Herrgott! («Господи Боже Небесный!»): это – когда уж совсем припёрло, что называется. А тут дядя Карл этому чинуше всё, что на душе накипело, и высказал:

– Кончилось ваше время! Теперь вы нас эксплуатировать больше не будете! Другие нашлись, кому это поручено. А мы с этого дня с вами равны, все одинаково голые, как в бане!

Со Шлюнда весь его гонор слетел, тихо сдвинул в сторону чемоданы свои роскошные и присел рядом с женой в уголок. Папа одобрительно головой кивнул на этот поступок и «речь» дяди Карла, но ни слова не проронил.

Поплыли... В трюме духота ужасная, пыль, грязь, вонь, а наверх не пускают, говорят – баржа перегружена. Маета!.. Сидим, молчим. Или какие-то свои прежние домашние дела обсуждаем. Хотя чего их обсуждать-то? Старая жизнь умерла, а новая ещё не родилась.

День проплыли. Ночь наступила. Спать совершенно невозможно. Дети плачут, железо грохочет. Мысли какие-то шальные и безумные в голове скачут. К примеру: а что если прыгнуть с баржи в Волгу и к берегу плыть?! Мы же недалеко от берега идём! А я пловец неплохой, доберусь до него и на волю! Стоп! А семья?! Её ведь нельзя оставить! Что мама скажет? Как папа после этого на меня посмотрит? И потом «круговая порука» установлена: за мой побег всей семье (и в первую очередь – папе) отвечать придётся! Так что сиди и не дёргайся!

Слышно, как люди передают друг другу: за ночь трое младенцев умерли. Жили бы у себя дома, остались бы живы. А как это – умереть? И что, вообще меня не будет на этом белом свете?! Страшно!..

Старикам тоже худо. Наш дедушка уже и передвигается с трудом. Еле дождались утра. Встали к причалу. Приказано выгружаться. Все побрели к железнодорожной станции. Она тут неподалёку, однако нам с папой и Алькой пришлось три ходки сделать, чтобы все наши вещи на перрон к поезду-товарняку перетащить.

Продовольствие велено в мешках и в отдельный прицепной вагон складывать. Ладно, отнесли туда два наших мешка с крупой и зерном, намалевали на них надписи покрупнее, по-немецки и по-русски.

Народ здесь уже не только из нашего, но также из других, самых разных кантонов. Многие русским языком плохо владеют, а некоторые вообще по-русски говорить не могут. Растерянные все какие-то, хмурые, неприветливые. Мужчины – небритые. Некоторые ведь, как и в семье Тео, до последнего надеялись, что Указ о высылке отменят. Оказалось, зря надеялись...

Подходят к нам местные русские жители, спрашивают:

– Ой, и за что вас этак-то? Куда увозят-то? И кто ж нам теперь немецкое маслице на рынок привозить будет?

А что мы можем ответить? Сами не знаем ничего.

И постоянно какие-то накладки, нестыковки, закавыки. Вот загрузили последний вагон мешками с продовольствием, а тут вдруг появляются железнодорожники и сообщают начальнику нашего эшелона:

– Этот вагон – больной. Мы его отцепляем и подошлём к вашему составу позже после починки.

Народ услышал, сбежался в кучу, зароптал. Глядь, а родимые наши бывшие начальники из разных кантонов (они все русский-то язык неплохо освоили) пошли на железнодорожников буром, начали кричать на них:

– Да кто дал вам такое право?! Да мы будем жаловаться! В Москву! Это саботаж! С места не сойдём, пока назад наш багажный вагон не прицепите!

Ну, столкнувшись с таким напором, железнодорожники видно струхнули, пошли на попятную:

– Ладно, успокойтесь! Сейчас всё сделаем, вагон починим, минутное дело, и поставим на место.

Папа так на этот эпизод отозвался:

– У тех, кто громче всех кричал, запасов в этом вагоне – раза в два больше нормы. Вот они и стараются. Ну что ж, молодцы! Заодно и наши интересы отстаивали.

Наконец, прицепили этот злосчастный вагон. Дали добро поездной бригаде. Паровоз коротко свистнул, и эшелон отправился в путь. Неизвестно куда...

Папа говорит, что вагоны, в которые нас втиснули, называются столыпинскими. А мне непонятно: Столыпин, что ли (бывший, кстати, одно время при царе саратовским губернатором), их строил? Папа лишь усмехнулся в ответ и добавил:

– Хорошо ещё, что вагон – четырёхосный и крытый.

А что уж тут хорошего-то, если в этот вагон человек 60 набилось от мала до велика. Детей много. И стариков. Сидим все, нахохлились...

Дедушка наш всю дорогу в какой-то отключке. Редко в себя приходит. А бабушка ничего, держится. Больше всего во всей этой катавасии она о свой швейной машинке «Зингер» заботится. Радуется, что машинка эта у нас ручная, а не ножная, иначе мы не потянули бы её, силы как-то быстро очень убывают в такой дороге.

Какое-то у всех наших попутчиков (да и у нас самих тоже) оцепенение, как у баранов, которых на убой везут, даже бляеть не хочется. В вагоне ни одного свободного пятка нет. Скученность ужасная. Люди изо дня в день сидят, пьют, едят, спят тут же. Нужду в железные вёдра справляем. Запах от этих вёдер чудовищный. Ведь опорожнять их можно только на стоянках, и то не всегда...

Благо что у нас места наверху, на вторых вагонных нарах, как раз у вентиляционного люка. Отсюда, сверху, нам только одни головы видны: мужские, женские, детские. В основном белокурые, но есть (немного, правда) и тёмненькие, и рыженькие. Смешно, головы в такт ходу вагона раскачиваются, словно колосья под ветром на пшеничном поле...

Мужики махорку-самосад в самокрутках смолят, и от этого постоянно висят густые клубы табачного дыма. А по ночам то детский плач, то старческий кашель, и стоны больных, и глухие тоскливые разговоры или женские рыдания сдержанные...

На остановках нас навещает охранник. Он, похоже, один на несколько вагонов и почему-то всегда навеселе. Алька говорит: «Под мухой!» По слухам, тот хлеб, что выдают для нас охранникам, они пропивают, меняя на водку у спекулянтов. Правда ли, кто его знает? Наш-то надзиратель хоть не самый злой, терпимый...

На больших станциях бегаем за водой и кипятком: горяченького-то хочется. Если останавливаемся где-то в поле, люди вмиг у вагонов костерки разводят, воду кипятят.

А домашние запасы быстро подъедаются. В прицепном вагоне у нас остается ещё по мешку пшеницы и пшеницы. Но папа говорит:

– Это нам на новом месте пригодится.

Часто стоим, как папа говорит, «на запасных путях». Остановки, как правило, долгие. Около Челябинска больше двух суток стояли. Нет свободных путей, навстречу нам – бесконечные воинские эшелоны.

И люди всё терпят. Mein Gott!

– Народ-то у нас, – часто повторяет папа, – опытный и выносливый, рабоче-крестьянский. Этой силой бы да по-хозяйски распорядиться!

Чем дальше на восток, тем холоднее и голоднее. Особенно страдают и слабеют маленькие дети и старики. Говорят, в эшелоне – корь, вши. Ещё одна напасть, с неправильной дорожной пищи многие мучаются поносом. Нас эта беда, к счастью, миновала. Мама с папой строго следят за тем, чтобы мы ничего «непривычного» не ели.

Опять умерли двое младенцев. Унесли их на остановке куда-то, и всё. И спрашивать боязно. Горе у людей куда-то глубоко внутрь ушло. Глаза блестят хмуро, не поймёшь, что там, за этими взглядами. Это как смотровая щель у танка...

Эх, вспомнил, на большую мозоль наступил! Нет, не возьмут меня теперь уже в танкисты! Никогда! А жаль! Вот у нас в селе даже лошадей летом забрали и велосипеды изъяли для нужд фронта. А парней взрослых в армию не брали. Они же комсомольцы, военкомат прямо штурмовали, просили их на фронт взять, чтоб фашистам перцу задать! Так нет, не призвали. А мы ведь патриоты-то самые верные! Грудью хотим Родину свою защищать! Подвиги совершать! Неужели этого в Москве не могут понять?!

#### 4. Алтай. 30 сентября

Ехали мы, ехали... И приехали! Выгружают нас в Барнауле, это Алтай! Не совсем ещё Сибирь, но уже её начало. Большой наш табор со всего эшелона расположился на главной площади города, прямо под открытым небом.

Пока ещё тепло. Правда, дождик сеет иногда. Так я высунул язык и капли эти мелкие ловлю. Благодать! После вагона-телятника любая воля хороша! Тут, на площади, и заночевали. А поутру гляжу – кругом бело! Иней! Все вокруг вылезает из-под своего тряпья, охают, ахают.

Потом опять сидим.

– Ждём у моря погоды, – Алька говорит. А папа полагает, что местное начальство пока не сообразит, как с нами быть и куда нас девать.

Местные жители, похоже, нас опасаются, обходят стороной. Что уж такого страшного им про нас наговорили? Энкавэдэшники в военной форме с голубыми петлицами вокруг иногда похаживают.

Отошёл я в сторонку от нашего табора, надо же местность окружающую исследовать! Тут совсем ветхая старушка (в коричневом

шерстяном платке, как и у нашей бабушки) осторожно подходит ко мне и говорит:

– Милок, сними фуражку!

Я не понимаю.

– А зачем? – спрашиваю.

И она мне:

– А посмотреть, у тебя рога-то есть или нет? Сказали начальники, к нам немцев привезут. А они все страшные и с рогами!

Смех и грех! Но где-то в душе слёзы закипают и к глазам поднимаются.

Ну, обозлился я, конечно. Фуражку скинул, голову к старухе наклонил и говорю:

– Потрогай! Видишь – ничего нет?!

А она и впрямь своей худющей трясущейся рукой волосы мне взъерошила.

– Ой, и вправду, – шепелявит, – нет ничего! Опять начальники наврала!

И дальше пошла...

Ух, как меня это достало! До ярости! Что же это получается? Раз я немец, значит, уж и не человек вовсе?! И можно всех нас, немцев, и всякому топтать и унижать?! Как же так?! Обидно до боли сердечной! Побежал я назад, к своим, рассказал обо всём маме с папой. А они молчат в ответ, только головами с грустью качают.

Ближе к обеду начали с разных окрестных мест какие-то подводы, повозки, телеги к площади стягиваться. В центре её – наши эшелонные и здешние начальники своими бумагами трясут. Потом последние вышли к подножию памятника героям Гражданской войны и давай кричать, как на базаре:

– Плотники есть? Ко мне подходите!

– Кузнец нужен и бухгалтер или счетовод!

– Возьму механизатора и агронома!

Ну, словно на невольничьем рынке где-нибудь в Древней Византии, как на уроках истории в школе рассказывали.

А вот старики да женщины с детьми, оказалось, никому и не нужны, их, наверное, куда-нибудь в самые бедные сёла распределят. Вот и нам такое небольшое село досталось. Из него целый обоз прислали, пять телег. Побросали мы на них все свои пожитки, и вперёд, к «новой жизни»! А вместе с нами ещё три семьи, всего человек двадцать пять.

Жалко, что Тео с нами не попал! Тут, видно, семьи ещё и по алфавиту распределяли. Но он же Тео Гаар, а я Клейн. Так что наши фамильные буквы далеко друг от друга оказались. А всё равно я своего друга Тео всегда буду помнить. Он замечательный парень, добрый, весёлый, не жадный. Сколько раз он мне на помощь приходил, когда надо было!

А в кармане у меня ещё и Мишкин ножичек. Очень удобный и в дороге не раз пригодился: и для еды что-то порезать, и для костра щепочек настругать.

Плелись мы с колхозным обозом весь день. К вечеру все устали до изнеможения. Старший возчик решил:

– Заедем вон в тот лесок на холме! Там и переночуем!

Возражать никто не стал, да и сил уже не осталось. Хотя легко сказать «переночуем». Но это ведь Сибирь всё-таки. И на дворе октябрь почти. Правда, днём-то пока тепло, около 18°. А вот ночью холодновато будет.

Ну, подсобрали мы хвороста, развели большущий костёр, лапника нарубили. Доели остатки наших домашних припасов. Ничего уже и не осталось почти. Мама эти «остатки былой роскоши» аккуратно на всех поровну распределила. А в животе-то всё-таки посасывает. Хорошо ещё, что соседи с нами своей провизией поделились. Малость, но приятно, люди добрые ведь у нас...

Кое-как улеглись, прижались друг к другу, притихли. Костёр потрескивает, теплом от него веет. Но и холодок пробирает, сладко не поспишь...

Перед сном замечаю, какие здесь, на Алтае, деревья высокие, раскидистые, красивые! Ели, сосны, ещё какие-то. Я и названий их даже не знаю, у нас, на Волге, такие не растут.

Так вокруг костра и переночевали. Наутро встаём, хлебаем горячую водичку, закусываем её маленьким кусочком хлеба и снова в дорогу. Руки-ноги разогреваем, они с трудом передвигаются после ночи на сырой, холодной земле. А дедушка с бабушкой совсем идти не могут. Еле пристроили их на две разные телеги.

– Старики же, они не тяжёлые, почти невесомые! – убеждаем возниц. Убедили – слава богу!

Бредём дальше, долго бредём. Сил уже нет никаких. К вечеру, наконец-то, показалось предписанное нам село. Съехали с широкого тракта и вниз, к реке.

Место красивое. Всё село на одном берегу Катуня, будто червячок вдоль русла лежит. А на другом берегу – тайга. Могучая, сплошная, дикая. Ого-го! Это как в Амазонии, у Жюль Верна что-то такое я читал про дремучие, непроходимые леса...

Словом, приехали! Останавливаемся на площади возле колхозной конторы (правления и сельсовета), напротив здания бывшей церкви со сбитым крестом. Тут уже небольшая толпа собралась, в основном бабы, старики и мальчишки, последние с палками почему-то. Впереди – крепкий, нестарый ещё дядька, в справных сапогах и щегольской кожаной фуражке.

– Председатель колхоза, – нам возница полушёпотом сообщает, – Фёдор Иванович.

Встал этот Фёдор Иванович по-хозяйски, руки в боки, оценивающе оглядел нас всех и спрашивает:

– Кузнецы есть?

В ответ – молчание.

– Ясно! А плотники и механизаторы?

Тут дядя Эмиль голос подал: он любой трактор может собрать-разобрать – не то что на нём работать!

– Ну ладно! – подытожил свой короткий опрос Фёдор Иванович. – А теперь расходитесь по избам – кому куда назначено! Завтра с утра поконкретнее разберёмся!

К нам подошла старушка в белом платке.

– Я, – говорит, – Ольга Васильевна. Пойдёмте со мной! Уж не обесудьте, коли что не так.

После этого знакомства как-то даже бодрее на душе стало. Мы с Алькой подхватили дедушку под руки с двух сторон и поплелись вслед за старушкой. Папа с мамой телегу сопровождают, чтобы имущество наше возле нового пристанища выгрузить.

А меня вечное моё любопытство и здесь распирает.

– Ольга Васильевна! – обращаюсь к нашей новой хозяйке. – А чего это мальчишки с палками-то в толпе стояли?

Она повернулась ко мне и как-то смущённо улыбнулась:

– Так нам же сказали, что к нам фашистов на постой привезут! Они все богатые, но страшные. Вот мальчишки и взяли палки – фашистов бить... А на поверку-то оказалось, такие же вы бедолаги, как и мы.

Мама ей про Поволжье давай рассказывать. Ольга Васильевна оживилась.

– У меня, – говорит, – дедушка откуда-то с Волги был. Давно сюда, на Алтай, перебрался – лет семьдесят назад.

Подъехали к избе: три окна на улицу, крыша мхом зеленеет, видно, что трухлявая, протекает наверняка. Ольга Васильевна снова перед нами как бы извиняется:

– Уж не обессудьте (похоже, это словечко у неё из самых любимых), в избу пустить не могу, у меня там невестка, Анна, с двумя детьми обретаётся, сын-то мой, муж ейный, – на фронте. Так что вам придётся здесь, в сенях квартировать. Не переживайте, однако, тута не больно холодно, у нас печь-то русская и одной стороной в сени выходит, обогревать как-нито, а будет.

Ну что ж, сени так сени, выбирать не из чего, да и не на улице же. Принялись мы туда свой скарб перетаскивать. Вещей-то за дорогу порядком поубавилось. Папа с присущей ему аккуратностью всё раскладывает и, как бы наставляя нас, приговаривает:

– Готовьтесь здесь зимовать! А зимы в этих краях суровые, морозы и за сорок градусов бывают и подолгу. Не то что у нас на Волге: раз – и пролетела зима. А здесь она более полугода держится.

Алька поддакивает и даже пытается по-своему папины мысли развивать. Но он, папа, тоже ведь окончательно с толку сбит, как и все мы. Жизнь-то перевернулась разом и вверх тормашками. Будущее – полный мрак...

Бабушка с дедушкой спиной к тёплой печке пристроились и замерли. У них сил совсем не осталось. Да и у нас всех тоже. Подождём до утра, там видно будет, что и как...

## 5. Первая зимовка

Утром пришли к правлению колхоза. С нашими переговариваемся и по-русски, и по-немецки. Ждём начальство. Не спеша шествует Фёдор Иванович. За ним какой-то старичок с белой бородкой хромает. «Счетовод!» – кто-то шепнул.

Начали каждую семью отдельно к себе вызывать, на беседу. Переписывают всех в отдельную похозяйственную книгу, на работы назначают.

Вышла семья дяди Эмиля, за ними и мы заходим (без дедушки, его мы с собой не взяли, он передвигаться совсем не может). Записал нас счетовод в какой-то солидный гроссбух, но, по-моему, всё перевернул. Папу превратил в «Андрея Николаевича», меня – в «Павла», Альбина – в «Альберта». Ну да ладно, мы не спорим, ведём себя смиренно.

Спрашивает председатель папу о профессии.

– Нет, – говорит, – у нас в селе школы. В соседнее село дети ходят. Не нужны мне учителя!

Папа ему: могу, мол, и туда на уроки ходить. А тут он, председатель, просто как с цепи сорвался:



— У меня хлеб в валках лежит необрунный в поле! Всех почти мужиков на войну забрали! Так что будете в поле работать, чтоб у Красной Армии хватило сил добить вас, фашистских гадов!

Алька даже передёрнулся от этих слов. А папа судорожно руку мою сжал, да так, что синяк, наверное, останется. Другой же рукой он Альке за локоть вцепился. Мама с бабушкой за нами стоят, и у них дыхание перехватило.

У председателя аж уши побагровели, ждёт, что мы ответим. А мы молчим, в руках держим. Да и что тут скажешь — палку соломой не перешибёшь! Председатель лишь рукой махнул, идите, мол! Вышли мы на улицу. Состояние на душе изжёванное какое-то, словно через мясорубку нас пропустили...

Показали нам бригадира нашего, и пошли мы за ним: в поле хлеба сырые и полупрелые подымать да в бывшую церковь их свозить. Там теперь устроили и зерносушилку, и склад одновременно.

Между делом расспросили наших, кто, где и как с жильём устроился? Оказалось, мы-то ещё чуть ли не лучше всех обосновались. У других-то ветхий заброшенный домишко и насквозь протекает; то в старую конюшню поместили (пустует, лошадей всех тоже мобилизовали, вместе с мужиками); то в крохотную баньку поселили (тепло, но места мало, даже спать негде). Кто-то вообще решил землянку копать на Береговой улице, ближе к Змеиному Логу, там места много свободного, можно и огород поднять.

Папа на это лишь рукой махнул:

— Что с нами завтра сотворят — неизвестно. Как же тут обустраиваться? Да и зачем?

Ну и стали мы жить такими вот «полуколхозниками». (Кстати, название колхоза здешнего — «Армия Ленина», а у нас, на Волге, было «Роте Фане» — «Красное Знамя».) Днями в поле или на ферме. Вечерами чистимся, греемся, какую-то еду готовим. Бабушка соседней хозяйке тётке Вале платье на своём «Зингере» сшила, и той так оно понравилось, что она поднесла нам за это целое ведро картошки. И как нельзя кстати: продуктов-то у нас почти совсем нет. Работаем-работаем, а выдают на еду лишь граммов по 400 («фунт» — как счетовод говорит) муки в день. И это — всё. А ведь одной-то мукой сыт не будешь...

Так прошло несколько наших первых недель в Сибири. Обносились, оборвались мы ужасно. Да и силы на пределе. С мамой даже обморок случился от голода. Тут папа проведал, что в правление начальник какой-то прибыл из района. И решился наш папа на отчаянный шаг, поговорить с этим начальником «по душам». Направился он к правлению, а я — за ним, в отдалении, чтоб он не заметил.

Зашёл папа в правление, а дверь за собой неплотно прикрыл, я всё и услышал. Папа сразу же быка за рога взял, терять-то ему нечего.

— Мы здесь, — говорит, — умираем с голода. Работаем целыми днями, а за работу практически ничего не получаем. Вы нас погрузили в вагоны, всё имущество и скот у нас отобрали. Сюда насильно привезли и ничего нам не дали. Ваши дети ходят в школу, а наши — на полях горбятся. Вам в магазине мыло и спички дают, а мы и этого не видим... Фёдор Иванович! Разве мы плохо работаем?

Председатель прокряхтел, что, мол, «неплохо». Видно — от неожиданности, народец-то ведь здесь тоже запуганный, робкий, беспрекословный.

Дальше что-то начальник забубнил неразборчиво, но спокойно. И папа уже не так громко и резко отвечал. Я быстренько смотал удочки и домой.

Самое интересное, что папе это его «выступление» обошлось без каких-либо неприятностей: как работал он в поле – так и дальше продолжал. Правда, выделили нашей семье козу. И зерна стали выдавать побольше (не только нам, всем немецким переселенцам). Бабушка с мамой изловчились его перемалывать на самодельной зернотёрке и кашу из этого суррогата крупы варить. А с козьим молоком эта каша – просто объедаенье!

Выдали нам и небольшой возок соломы для козы. Но что-то не очень-то она такой корм жалуется, морду воротит. А ничего другого дать ей мы не можем. Беда...

Выпал снег. Вместо полевых работ стали гонять в тайгу на лесоповал. Но папа снова переговорил с председателем, и тот меня в школу в соседнее село направил. Да, а то ведь я уже два с лишним месяца учёбы пропустил, надо догонять! Ходу мне до школы часа полтора в одну сторону. Но всё равно – интересно!

## 6. Сельская школа

Иду в школу. Солнышко светит. Иней на таёжной хвое сверкает. Так красиво! Правда, тут совсем другая красота, не та, что у нас в степях. Но тоже дух захватывает!

Наблюдаю за рекой, размышляю. Катунь здесь быстрая, и голубая вода её тащит всё за собой, как хищный зверь. Говорят, если даже всего лишь по колено кто в неё зайдёт, больше на берег не выйдет, стремнина с ног собьёт и утопит. Но оба берега Катуня, и ближний, и дальний, низкие, и совсем она не похожа на ту реку, что пригрезилась мне недавно в очередном моём видении. Так что, значит, нас ещё дальше куда-то переселять будут? Непонятно! С другой стороны, может, я ту пригрезившуюся реку лет через двадцать только наяву увижу? Кто знает?! Ясности нет никакой. Вздыхаю...

И вдруг что-то меня ударяет сзади, под правую лопатку, да так больно! Бах!!! Я даже пошатнулся. Очень больно! Оборачиваюсь в недоумении и вижу: трое местных парней моего возраста, тоже в школу идут. У одного рука ещё не опущена после броска чем-то тяжёлым и острым мне в спину. И он кричит мне:

– Что – получил, фашист проклятый?!

Тут у меня в голове что-то щёлкнуло, просто замкнуло. Видно, все беды, напасти и унижения последних месяцев в душе рванули, как бомба. Сознание помутилось, чем-то красным всё передо мной подёрнулось... Ринулся я на этого парня с воплем:

– Сам ты фашист поганый!

И откуда только силы взялись? Руки движутся словно пропеллер, не остановить, и удары сыплются градом на обидчика – и в нос ему, и в плечи, и в живот! Он опешил от такого неожиданного напора и ничего поделать в свою защиту не может.

К счастью, и опять же внезапно, в голове моей проясняется. Двое других парней прихватили меня за руки, в сторонку оттащили. Начали меня успокаивать помаленьку, уговаривать:

– Да охольнь ты! Чего разошёлся-то? Мы же просто шутим, играем как бы! Мы же не знали, что ты бешеный такой!

– Хороши шуточки! – отвечаю. Гляжу, а у моего супротивника кровь из носа идёт. Он голову запрокинул, комок снега к носу приложил, а потом говорит мне (спокойно так, будто ничего и не случилось):

– Ты не сердись! Ты же новичок, вот мы и хотели проверить тебя на вшивость.

– Да ладно! – отвечаю. – Забыли! Только вы так больше не шутите!

– Да мы уж поняли, что ты обидчивый слишком. А как тебя зовут-то?

Я подумал-подумал, но раз уж меня в правлении Павлом окрестили...

– Паша, – говорю.

– А меня Гришей звать...

Познакомились, в общем. И как-то всё тяжёлое, мутное разом схлынуло, и душа освободилась от обиды, и злости никакой не осталось.

Идём дальше, болтаем о том о сём. Я им про Волгу рассказываю, они мне про тайгу. Даже весело как-то всё получается. Дружья не дружья, но товарищи вполне нормальные. К примеру, они спрашивают:

– В селе говорили перед вашим приездом, что, мол, у вас всё другое. И пьёте вы не квас, а кофе, и вера у вас другая, и вообще совсем вы на нас не похожи. Так ли?

А я им – как на духу – поясняю:

– Да ерунда всё это. Ведь мы же все сейчас советские люди. Кофе днём с огнём не достанешь. А церкви наши лютеранские давно уж закрывали, как и ваши – православные.

Парни слушают с интересом, головами кивают, поддакивают...

Пришли в школу. Пацаны показали мне мой класс, а сами ушли в свой. А что, неплохие они ребята, в сущности, хотя и немного старше меня, уже в седьмом классе учатся.

Сел я за свободную парту, разложил свою котомку. «Да, – думаю, – школа-то небогатая, мягко говоря. А ребята обычные. Никто не навязывается особо, но и не задирает. Хотя наверняка Гришка про нашу стычку всем уже растрепал...»

И полетели школьные денёчки, как птички! Учиться стало трудно, не то что до войны. Бумаги совсем нет, пишем на старых книгах и газетах. Учебников не хватает, выдают по две-три штуки на класс. Да и желудки у нас постоянно песни поют, с едой-то – у всех дело швах...

Друзей у меня в школе так и не завелось. Как-то я всё особняком, словно белая ворона. Наши немецкие ребята из тех, кто учатся, по другим классам сидят, вместе никак мы с ними не попадаем.

А учителя неплохие. Нормальные. Примерно такие же, как и в старой варенбургской школе, не хуже и не лучше.

Единственное, что напрягает: нужно быть всё время настороже – как бы какое-нибудь немецкое словечко вдруг в речи не прорвалось (как у нас дома случается сплошь и рядом). А тут сразу остро так глянут, да ещё и «фрицем» могут обозвать, пусть и шёпотом. И ещё на переменах, когда с нашими немецкими земляками играем, стараемся на своём языке не говорить, особенно если посторонние рядом. Ну да ничего, дети ведь быстро чужой язык схватывают. Вот и я уже многие «чалдонские» словечки от местных одноклассников перенял и даже дома этим щеголяю. Папа морщится, а вот Алька хохочет и подтрунивает. Ему повезло, помощником счетовода в правление колхоза взяли, работает там теперь вместе с бородатым старичком, своим начальником.

Мария Васильевна, учительница русского языка, меня уже через месяц занятий похвалила за грамотность. Ну а что тут такого удивительного, я ведь и здесь много книжек по-русски читаю, в основном по вечерам. Бабушка ворчит:

– Керосина не напасёшься на вас, книгочеи! Да и глаза бы поберегли!

А слепой историк Михаил Иванович (он зрение на Финской войне потерял) недавно пригласил меня после уроков к себе домой в шахматы с ним сыграть. У нас в семье все мужчины в шахматы неплохо играют, а среди местных мало кто о них и слышал вообще. Пришли мы, значит, к Михаилу Ивановичу на квартиру. Жена его нам даже по чашке чая приготовила, сладкого! Я, знамо дело, поначалу стеснялся очень. А Михаил Иванович первым делом строго меня предупредил, чтобы я играл честно, в полную силу, и ему не поддавался. Ну, я и выиграл. Понятно, что ему приходится труднее, чем мне: ведь он доски и фигур не видит, да и вообще играет он заведомо слабее. Но всё же расстроился мой учитель заметно. Хотя и ненадолго. Думаю, что всё равно он остался доволен: ведь в школе-то (да и во всей округе, пожалуй) больше-то и не с кем ему «партеечку разыграть».

Бреду из школы домой. Снег уже глубокий, много навалило его за последние дни. Улыбаюсь про себя. Свежо, хорошо! Настоящая русская зима! И морозец стоит крепкий уже целую неделю...

На днях папа вновь приходил к директору нашей школы, просился на работу. И снова отказ: «Нет места!..» А на лесоповале папе очень плохо, труд для него там непривычный, невыносимый. И одежда на нём худая, и сил нет никаких, организм истощён до предела. Мужики из бригады колхозной его жалеют: сучкорубом назначили, с поваленных уже деревьев сучья обрубать. Работа как бы и не самая тяжёлая, но тоже не сахар. И всё равно сдал папа за последнее время сильно: нос заострился, дышит прерывисто, с хрипом...

Подхожу к нашему дому, вижу: мама, в слезах, а за ней – папа, и оба чуть ли не бегут куда-то по проулку. Лишь потом я понял, к правлению колхоза. Я стремглав в дом. В дверях чуть Альку не сшиб.

– Что случилось? – спрашиваю.

– Дедушка умер, – отвечает брат. И глаза прячет. Его ведь дедушка больше всех нас любил.

Конечно, мы давно уже этого ждали. Дедушка последнюю неделю вообще в сознание не приходил. Но ведь это же наш дедушка Мартин! И жалко его не сказать как!

Вспомнил я вдруг, как он мне по весне кораблики маленькие вырезал, чтобы их по ручьям пускать, как на своём станочке учил меня работать... Слёзы так и брызнули из моих глаз. Сижу и рассыпаюсь на части от нахлынувших рыданий. И бабушка Эмилия рядом со мной, руку свою на колено мне положила и тоже слёз сдержать не может. И не хочет. И ничего не говорит. Так и сидим, горюем вместе, рыдаем и молчим...

Вернулись папа с мамой: крайне возбуждённые, что-то говорят – оба и разом. Тут вышла к нам в сени Ольга Васильевна.

– Не обессудьте, – говорит, – но вы уж как-то побыстрее это дело, с покойным-то, управляйте! Сами понимаете – тянуть незачем!

И удалилась к себе – в избу.

Папа с мамой опять загалдели. О чём – понять не могу. Тут Алька вмешался, и я въехал, наконец: декабрь же на дворе, земля промёрзла, и могилу на кладбище нам своими силами не выдолбить ну никак.

И куда же тогда дедушку девать до тепла, до весны?! Сошлись на том, что сделаем для дедушки большой деревянный ящик и зароем его в снег, хорошенько, поглубже, на задах огорода. А весна придёт, земля оттаёт маленько, тогда и похороним уже по-людски. Иначе ничего не получается.

Вот и ходили папа с мамой к председателю колхоза доски для ящика просить. Но Фёдор Иванович досок не дал:

– Нету! – говорит.

(Опять непонятки: кругом тайга, колхоз лес заготавливает, а даже десятка досок у него нет. Как же это так?!) Вместо досок выделил нам председатель несколько фанерных ящиков из-под каких-то продуктов. И на том спасибо!

Алька быстренько сбежал в сельпо, притащил эти ящики. Кое-как они с папой сколотили из них гроб. Получилось невесть что, фанера всё-таки. Но в наших условиях ничего другого нам не остается.

Принарядили дедушку как могли, положили его в эту фанерную домовину. Бабушка собралась с духом и заупокойную молитву прочла по-немецки. Потом мы все вместе похоронный псалом спели по затрёпанной бабушкиной книжице (и как же она сохранилась-то во всех наших передрыгах?). Затем отнесли ящик к выбранному месту на огороде. Разгребли там снег до самой земли (это больше метра глубины), обернули «гроб» какой-то холстиной и прикопали его понадежнее, с бугорком...

Вернулись в дом. Сварила мама картошку в мундире, по две на каждого. Хозяйка капусты квашеной в тарелке принесла. Уселась рядышком дедушку помянуть. Тут бабушка сквозь слёзы начала рассказывать, какой чудесный гроб (Sarg) он себе лет пять назад смастерил: древеси-на красивая, с прожилками, ручки-ножки сам выточил на своём токарном станочке... Сидим, слушаем и тоже слёзы глотаем.

А папа порылся в закутке и достал зелёную бутылочку с резиновой пробкой. Налил из этой бутылочки по чуть-чуть в стаканы маме и Альке.

– Самогонка, – говорит. – К ноябрьскому празднику лесорубам колхоз выделил по четушке на брата.

Выпили они, и вижу я, что папа наш совсем надломился. Что-то в нём внутри ослабло. Вера, что ли, какая-то иссякла? Мы, все остальные, вроде приспособились, живём одним днём. Сутки прочь, и слава богу: Gott mit Uns! А папа (видно, от непосильного труда) отчаиваться начал. И хочется мне хоть как-то утешить его. Сижу рядом с ним и говорю ему тихонько:

– Не горюй, папочка! Я скоро вырасту, выучусь, буду хорошо зарабатывать и костюм тебе новый куплю! Старый-то совсем дырявый стал!

Тут папа заулыбался и на миг стал похож на себя прежнего, довоенного.

– Хорошо! – говорит. – Только на тебя вся и надежда!

Вот так и простились мы с дедушкой. Светлая ему память, очень добрый человек был. И ласковый. И руки имел золотые. Одно слово – Мастер!

## 7. Первые проводы

Зима! Мороз! И всё равно мне жить нравится: и когда морозец – солнце ясное, и когда дожди льют – на лицо капли падают, а я их слизываю

языком, и когда метель – ни зги не видно (хотя что такое эта «зга» – даже и не знаю). Какая же это радость – жить! Воздух иногда до того хорош, ну хоть ножом его режь да на хлеб намазывай!

А вот хлебца-то и нет, ни кусочка, ни сухарика. Голод. Постоянно есть хочется. Отощали все до крайности. На трудодни («на палочки», как местные говорят) выдают какие-то крохи и только раз в неделю четыре кило зерна сорного. Это на всю семью. Картошки своей у нас нет, приходится её на вещи выменивать, те, что ещё остались.

Мама, как всегда, в лучшее верит, часто повторяет:

– Какое счастье, что мы вместе – всей семьей – живём! И дай бог, чтобы так было как можно дольше!

Тут она крестится, голову склоняет, а в глазах слезинки появляются. Ну а папа режет правду-матку:

– Конечно, это хорошо, что вместе! Только живём-то как на пороховой бочке. Или того хуже – на вулкане. Что угодно и в любой момент может произойти. И лучшего ждать не приходится.

Алька добавляет:

– Да, село здешнее – небольшое, а похоронки в последнее время рекой хлынули. Кто-то убит, кто-то без вести пропал. Народ озлобляется, отчаивается. И на нас всё мрачнее смотрят. Мы для них как будто враги становимся.

Один лишь председатель колхоза к нам, немцам, вроде как и подошел малость. Мы же все («фрицы», как он говорит) трудолюбивые, дисциплинированные, душой за любую работу болеем и всё в срок стараемся исполнить. Дядя Эмиль, к примеру, всю колхозную технику отремонтировал и в дело запустил. Вот председатель и приговаривает:

– Эх, если бы мне ещё человек десять таких «фрицев» прислали! Да я бы тогда с ними все планы выполнил и перевыполнил!

\* \* \*

Конец февраля, понедельник. Иду я из школы, по сторонам зеваю, на заснеженные деревья любуюсь, ворон по дороге спугиваю. Настроение хорошее: сегодня получил «пятёрку» по литературе и «четвёрку» по физике. Вспоминаю, о чём вчера вечером читал. В школьной библиотеке я уже все художественные книжки проглотил. Теперь пользуюсь тем, что Михаил Иванович даёт мне из своей домашней библиотеки, она у него хорошая, пожалуй, даже побогаче школьной будет.

Более всего я люблю книжки про путешествия. Как же это здорово, скажем, где-нибудь в Южной Америке с индейцами по Амазонке плыть! Или с Магелланом край света искать! Я, как его секретарь Пигафетта, всё бы увидел, занёс в дневник, а потом вернулся домой со славой и свою книжку написал!

«Ну, ладно, – думаю про себя на ходу, – стану в третьей четверти ударником – вот мне и слава! А что, очень даже может быть, все пропуски свои учебные я давно нагнал, а кое в чём даже и обошёл одноклассников».

Прихожу домой, гляжу: у бабушки в руках веник – разбила едва ли не последнюю нашу домашнюю чашку. Убирает осколки. Будем теперь пить только из алюминиевых кружек (а их у нас всего три). Расстроилась бабушка вся, конечно. Я пытаюсь успокоить её:



– Да не горюй ты так, бабуль! Я летом работать пойду, и накупим мы этих чашек, пропасть сколько! Сколько надо, столько и купим!

А она погладила меня по голове и говорит:

– Работать ты и так пойдешь, и скоро. Повестки папе и Альбину из военкомата принесли.

Сердце у меня так и всколыхнулось. Вот и пришла она, самая страшная беда – разлука!

Забрался я в уголок наших сеней за дырявое деревянное корыто, переживаю, судорожно размышляю: «В армию-то, наверно, и хорошо, хоть с голоду там не пропадут! Только это какая-то другая армия, “трудовая”. Значит, не настоящая? Значит, только хуже им, папе и Альке, там будет? Скорее всего, так».

Вечером сидим за столом и молчим: ни говорить, ни плакать ни у кого уже сил нет. Безысходность, да и только. Но что тут поделаешь? Надо ведь как-то дальше жить!

Алька говорит:

– Кроме нас ещё пятерых немцев-мужчин призывают. От шестнадцати до пятидесяти пяти лет – призывной возраст.

Ему самому-то как раз шестнадцать исполнилось. Гордится, что взрослый уже. Он, Алька, конечно, очень умный, куда умнее меня. А вот чего-то самого простого, но крайне важного он иногда не понимает. Надо ведь не только головой соображать, но и сердцем жизнь чувствовать, как мама.

Собираем для наших «призывников» котомки. Как в военкоматской бумаге сказано: «сухари и постельное бельё»? А где же это бельё взять? У нас его, как и всего прочего, шаром покати – нету. Всё на продукты променяли и почти задарма. За бабушкин «Зингер», к примеру, всего-то два ведра картошки дали. За другое барахлишко и того меньше.

А на следующее утро снова солнышко, но морозец крепкий, февраль ведь ещё не миновал. Снег пушистый искрится на солнце. В книжках пишут – «словно серебро». Серебра я ни разу в жизни не видел и не представляю, что это такое. Но раз в книжках пишут, значит, так оно и есть.

Мама с бабушкой простились с папой и Алькой возле дома. Рыдания сдерживают, но слёзы катятся неудержимо, одна за другой. Две кошевы (сани такие раскидистые) прислали за нашими немцами-«призывниками». И как только этот небольшой обоз тронулся с места, я вскочил на запятки полозьев той кошевы, где папа с Алькой пристроились. Папа ухватил меня за руку, губы у него шевелятся, а слов произнести не может, не может вытолкнуть их из горла. Я тоже держу крепко его руку – и молчу...

Минут через пять выехали на пригорок в конце села. Надо уходить мне. Соскочил я с полозьев. Тут папа поднял свою правую руку, словно остановить меня хотел или прикрыть от какой-то опасности и глухо, с большим трудом вымолвил: «Прощай, сынок!»

В груди у меня что-то оборвалось, ударило в голову: «А ведь я, наверное, больше не увижу его – никогда!» Что-то закричал во след удаляющемуся обозу. И Алька мне машет, кричит. Я не слышу что, могу улавливать только по его широко разинутым губам: «Береги маму с бабушкой! Ты у них теперь – единственный заступник!»

Скажет тоже! «Моряк – с печки бряк» – так наша хозяйка, Ольга Васильевна, внуку своему всегда говорит...

Иду в школу. А что делать-то? Надо свою линию в жизни дальше тянуть. Я сегодня дежурный по классу. Первый урок история. И нужно для Михаила Ивановича всё четко разместить, он же не видит ничего. Ну, вымыл я хорошенько тряпку для доски, мел красиво разложил. Но что-то муторно у меня и в груди, и в голове. Да и спал я сегодня плохо, переживал за папу и Альку – увидимся ли вновь когда-нибудь? Ох, скорей бы эта война кончилась!

Ребята в классе тоже все хмурые какие-то, заспанные. А Петька (парень из местных) тот вообще уселся за свою заднюю парту и в одну точку уставился.

Но вот и звонок к началу урока. Входит Михаил Иванович, осторожно ощупывает стул и стол, садится. Как всегда, спрашивает вначале:

– Кто сегодня дежурный?

И только я собрался встать и доложить по форме, как тот самый Петька с задней парты неестественно громко и каким-то пронзительным голосом кричит:

– Гитлер!

Меня будто под дых кто ударил, и опять в голове и в глазах помутилось. Рухнул я на парту и зарыдал, ну прямо как девчонка. И никак успокоиться не могу, слёзы ручьём льются. А в голове бьётся: «За что он меня так?! Что я ему сделал?! Разве все немцы – негодяи?! Да мы, русские немцы, самые главные патриоты в Советской стране! Мы горячее всех нашу Родину любим, а фашистов ненавидим!»

И не могу остановиться, всхлип за всхлипом, аж дыхание перехватывает. Еле-еле и кое-как минут через десять остановился, успокоился немного. Глаза опухли, не вижу ничего. Нос, чувствую, красный. В голове звон какой-то. Полная тоска и одиночество. Хорош, нечего сказать!

А в классе все молчат, что называется, гробовая тишина. И единственный слабый лучик надежды моей тоже пропал куда-то. Михаил Иванович невидящим взором своим скользит по верх наших голов. И я понимаю: он тоже совершенно беспомощен и не знает, что сказать. Наконец собрался он, видимо, с духом и с глубокой какой-то горечью, хрипло произнёс:

– Ребята! Я думаю, вы совершенно зря обижаете Клейна! Мне кажется, он и его земляки ни в чём неповинны. Пройдёт время – и правда возьмёт своё!

Так и просидели мы весь этот урок молча. А на перемене собираю я свои вещи, решил домой уйти, и тут мне сосед по парте, Вовка Коробейников, говорит:

– Паш, ты на Петьку-то сильно не обижайся, ему вчера на отца похоронка пришла. Вот его и колбасит.

Я молчу. У всех своя правда. Плохо только, когда ты оказываешься при ней крайним!

А на улице смотрю, председатель нашего сельсовета – Андрей Николаевич – идёт. (Сельсовет-то у нас один на несколько колхозов и находится там же, где школа.) Посмотрел Андрей Николаевич на меня, что-то понял, надо полагать, и решил, видимо, как-то ободрить или утешить:

– Не горюй, парень! Мы с тобой вдвоём ещё всех фашистов перебьём!

Сказал и дальше пошёл. Вот ведь как. Он, Андрей Николаевич, конечно, мужик добрый, не то, что Фёдор Иванович, наш председатель колхоза!

## 8. Моя «беспечальная» жизнь

Захожу домой, и бабушка мне тут же:

– Иди в правление – тебя Фёдор Иванович срочно вызывает!

Ну, я и пошёл, знамо дело. Иду, бреду, пустой головой заборы да плетни отираю...

А в правлении Фёдор Иванович мне с места в карьер:

– Тебе ведь, Паша, уже четырнадцать-то исполнилось?

– Да, – отвечаю, – две недели назад.

– Ну вот... Тут, понимаешь ли, дело такое, заболел мой счетовод. И Альберта (так он, председатель, нашего Альбина окрестил) в трудармию забрали. А у меня просто завал с бумагами: райком, исполком – все какие-то свои отчёты требуют. И надо, чтоб цифры в них были не какие попало, а правильные и нужные. Понимаешь?

Но я только глазами хлопаю.

– Одним словом, – продолжает Фёдор Иванович, уже заметно раздражаясь, – выходи-ка ты с завтрашнего дня на работу сюда, в правление, счетоводом, как?! А что, хоть подкормитесь с матерью и бабкой аж до самого лета!

– А школа как же? – спрашиваю.

– Ну что школа? Никуда она не денется. Пока оставишь, а потом нагонишь!

Хитрован он, Фёдор Иванович! Ясно же, свою выгоду и тут смекает.

А я? Что я? Да если б не утренняя обида, ни за что бы школу не бросил! И папа этого не допустил бы. Но ком-то в горле у меня до сих пор стоит, не уходит. На душе ссадина. На этом и подловил меня председатель. В общем, согласился я, будь что будет!

Мама потом сама сходила в правление, обговорила дополнительную норму выдачи зерна мне уже как полноправному колхознику, а не какому-то там иждивенцу.

\* \* \*

Вот и сижу теперь целыми днями в конторе в душевной комнатке, подсчитываю цифирки всякие, бесконечные бумаги заполняю, отчёты по прошлогодним образцам и плановым нормативам строчу. Где-то и привру, где-то как-то и по-другому выкручусь. А если не уразумею, что и как писать, бегу к Василию Яковлевичу, старому счетоводу. Он по дому-то уже шарашится, но выходить на улицу ещё не может. И у него этих хитрых уловок пропасть бездонная: как всех начальников вокруг пальца обвести, лапшу им на уши навесить и при этом на бумаге все планы выполнить.

А тут и весна накатила: ледоход, травка первая на буграх зазеленела, в лужах вода тёплая. И с местными деревенскими парнями я поближе сошёлся, особенно с Гришкой. Друзья не друзья, а вроде как приятели, можно с ними и в лапту поиграть, и в городки переброситься.

Война-то грохочет будто и далеко где-то, но всё равно давит на всех и здесь и со страшной силой. Сводки с фронтов опять нерадостные. Зимой из-под Москвы надежду внушали на скорую победу, а вот теперь вновь стали какими-то страшными. Слежу по карте вслед за ними и ужасаюсь: ведь половина страны (в европейской-то части) под Гитлером! Как же так получилось?! Мы же – самые сильные, быстрые, меткие! Так ведь нам везде и всюду говорили?! А что те-

перь? В село несколько инвалидов вернулось, кто без рук, кто без ног. А всё равно родные их, особенно бабы, радёхоньки: похоронок-то намного больше приходит. Мужиков-то всех из села выгребли: как только исполнится парню восемнадцать, сразу в военкомат его – и прости-прощай!

Но и здесь, в глубоком тылу, особо-то не разгуляешься и не расслабишься, рассусоливать некогда. Голод не тётка: сосёт всё время, не отпуская. Только и разговоров, что и как раньше ели-пили, чего бы сейчас похлебал или откусил такого, предвоенного... Я вот тоже – совсем отощал: вырос, мослы торчат, а глаза ещё синее стали. Девчонкам, говорят, такие глаза нравятся, а я стесняюсь, по мне лучше всё-таки кареглазым быть.

Мама на ферме приработалась. Бабушка по хозяйству хлопочет: каши нам из зерна варит да муку на ручной зернотёрке мелет. И с хозяйкой, Ольгой Васильевной, как-то мы сжились. Тёплыми наши отношения не назовёшь, но в беде друг друга не оставляем. Помогаем и хозяйской снохе Анне: бабушка нередко с ребятишками её возится. Их двое – Коля и Валя, и они совсем маленькие: мальчугану – четыре года, девочке – шесть лет. Отцу их повезло, можно сказать: попал кузнецом в штабную армейскую автороту, так что он не на передовой. Авось, и выживет.

.....

А жизнь катится по своей колее. Конец мая, лето на носу. В колхозе хлопот полон рот: то пахота, то боронование, то сев. Вот я как учётчик и мотаюсь по колхозным полям с рассвета и до ночи.

Исход весны – самое голодное время. Запасы старого зерна давно кончились, а до нового урожая ой как далеко! Все люди худющие ходят, питаются подножным кормом – молодой травкой, крапивой. И нам пришлось козу дарёную прирезать ещё перед Новым годом, кормить-то её нечем стало. Но зиму и весну всё же как-то продержались.

Замечаю, что речь у меня стала как у всех местных селян: на «о» так же сильно напирваю и все их редкие слова повторяю, которые раньше и не слыхивал.

\* \* \*

Один из последних майских дней. Прихожу ранним утречком в правление, там уже сидит Фёдор Иванович, а с ним и председатель нашего сельсовета Андрей Николаевич. В комнате – дым коромыслом, оба сигарками самодельными, козьими ножками, коптят, клубят как два вулкана. От этого самосадного курева дышать нечем, у нормального человека глаза на лоб лезут, а здешним чалдонам хоть бы что.

Сидят они, смолят своё и молча на меня смотрят. Долго молчат. Я уже заёрзал: что-то неладное намечается. И тут Фёдор Иванович вкрадчиво так начинает:

– Вот, Паша, Андрей Николаевич разнарядку принёс на село наше: срочно надобно одного человека на лесозаготовки откомандировать. Не исполнить мы этого не можем, головы наши полетят. Война ведь, законы военного времени, сам понимаешь.

Понимать-то я понимаю, а на языке у меня вертится: «Так чего ж бы тебе, Фёдор Иванович, сынка своего туда не послать? Ему же целых семнадцать лет. Здоровенный парень. А ты недавно в больницу его свозил.

По злым слухам, справочку там выкупил о язве желудка у сыночка, чтоб через год в армию не забрали его».

Но я молчу, себе же хуже будет... Правильно мама говорит: «Одна курочка от себя гребет, все остальные к себе». А еще слышал недавно – тоже больно понравилось: «У всякого плута свои расчеты!»

Тут и Андрей Николаевич ласково голос подаёт, из раздумий меня вытаскивает наружу:

– Сходи, Павлик! Ненадолго – на месяц всего! А мы тебе потом отпуск выпишем!

Ну что я могу поделывать?! Подсунули мне повесточку, заставили расписаться на ней и вперёд, на лесоповал, папе на замену!

\* \* \*

На другой день я и ещё пятеро местных парней собрались с утрачка у правления и не спеша попылили в тайгу, на деляну. До неё километров пятнадцать, так что шли почти полдня. Приходим на вырубку. Красотища кругом! Сосны стоят матчовые, розовые, красивущие. Где-то высоко-высоко пышными верхушками своими радостно помахивают. Зелень на них свежая уже, не зимняя. Загляденье просто!

А зашли в жилой барак (их здесь четыре): временное сооружение – полусарай, полшалаш, полуземлянка. Ужас! Нары сплошные и в два этажа, спят все вповалку, не раздеваясь. Пол земляной. Мрак, грязища, всякая живность насекомая прямо на глазах ползает. На весь барак одна маленькая печка-буржуйка: ни согреться, ни обсушиться в непогоду.

Определили меня в бригаду. Как и папа, должен был я ветки с поваленных сосновых стволов обрубать (они потом хлыстами называются). Дело не самое сложное, топором давно научился только так махать. Главное не переусердствовать, по ноге не попасть ненароком.

И всё бы ничего, терпимо, если бы не кормёжка. Она здесь тощая и отвратительная. На обед и ужин выдают по чашке баланды какой-то, из репы или брюквы. Тошниловка! Про мясо и вспоминать нечего. Иногда лишь рыбы хвосты да кости в этом вареве попадают. Хлеба (сырого, непропечённого) 600 граммов на весь день. И более ничего. Хуже бы, да некуда...

На работе бригадир бдит, чтоб не филонили, не отлучались с делянки никуда без нужды. После работы надзор как над заключёнными: вокруг наших бараков забор из жердей соорудили, охранников назначили следить, чтоб не сбежал никто.

Ну, проработал я в лесу день, другой, неделю, чувствую: ноги мои тяжелеют, начинают сдавать при ходьбе, живот к позвоночнику прилипает, руки двигаются с трудом, одышка появляется. И понимаю, пропаду я здесь от работы, которая становится непосильной, от грязи, клопов и вшей, а скорее всего от постоянной и нестерпимой голодухи.

Стал соображать, как быть? что делать? Наконец решаю: бежать! Других вариантов нет, да и терять мне нечего. Понятно, что делать это надо в одиночку. Поэтому ни с кем на эту тему даже не заговариваю.

Пару дней примериваюсь, приглядываюсь. В одном месте под забором тайком (поздними вечерами) подкоп небольшой руками разгрёб, дёрном и мхом его замаскировал.

После ужина, когда все успокоились, задремали, потихоньку встаю со своего места на нарах (благо оно у меня внизу и сбоку), напихал вместо себя под покрывало всякого барахла (заранее приготовил), чтоб хоть издали на человеческую фигуру походило, выскальзываю из барака

будто по нужде. Огляделся. Охранник в противоположном углу забора стоит, курит, отвернулся. Я бегом на цыпочках к проходу. Освободил его от дёрна и мха, протискиваюсь за изгородь, проход вновь аккуратно заложил и айда в тайгу! Со всех ног! Слава богу, никто вроде не видел и не слышал! Теперь только вперёд!

А ноги-то еле идут. И бреду я черепашьим ходом по таёжной окраине вдоль обочины разбитой лежнёвки (лесовозной дороги). По самой-то дороге нельзя, опасно, сразу заметят, если погоню пошлют.

А в ночной тайге страшно-то как! До дрожи! Волосы на загривке дыбом встают. Огромные деревья вокруг поскрипывают да постанывают, словно чудища заколдованные. Птицы какие-то в чаще ухают, то ли перекликаются, то ли предостерегают, то ли угрожают. А может, беду пророчат? Короче, шумов, треска, шелеста, гомона кругом – пропасть! На нервы это действует, да ещё с голодухи и со страху, просто оглушающее. Вот и у меня чувства все по-звериному обострились.

И вдруг я снова как бы провалился куда-то в другое время, словно в яму чёрную, бездонную. И чудится мне: стоит в пол-оборота девчонка молоденькая, но немножко и взрослая. Солнцем профиль освещён, волосы как белый речной песок. И на меня так ласково-ласково смотрит. И понимаю я: нет у меня в жизни ничего дороже, чем она! И не будет никогда! Как будто на сердце моём этот девичий профиль отпечатался!..

Но тут – бах! – и ушло видение. Как всегда, словно его и не бывало. Очнулся, стою как пень. Вот так всегда, после этих «видений» меня ступор какой-то настигает.

«Нет, парень, это ты брось! Вперёд и как можно дальше!» – сам себе приказываю. А сил-то нет совсем, сердце в груди зайчиком испуганным колотится, трепещет, бьётся лихорадочно. Но надо, надо уходить! На четвереньках, ползком, как угодно!

Длиннее ночи у меня в жизни не было... Утром уже подхожу к своему дому со стороны огорода, чтоб не увидел никто. Мама с бабушкой обнимают меня, целуют, плачут. А я одно твержу в полубреду:

– Я от голода из леса сбежал. Назад не пойду, помру я там. Спрячьте меня!

Ну, накормили они меня всем, что у них было, – и в подполье пристроили. Тюфячок мне туда подстелили, водички поставили.

Лежу я там весь день в тревожном забытии. Бьёт меня какая-то лихоманка. И картины детства в распалённом мозгу мелькают: Волга... арбузы... папа с мамой весёлые и молодые, как до войны.

Потом, к вечеру, вроде оклемался маленько. Слышу, наверху мама с бабушкой ходят и переговариваются, мол, у Ольги Васильевны в избе ещё одно подполье есть, и если что можно туда Пауля перепрятать.

Тут раздаётся громкий стук в наружную дверь. У меня сразу сердце в пятки. Кто это там? За мной, небось, пришли?

Различаю по голосу – тихому, рокочущему: это Андрей Николаевич к нам явился. Вновь тревога: зачем? Не по мою ли душу?

Он, Андрей Николаевич, что-то спрашивает, мама тихо ему отвечает. Затем грохот отодвигаемого стула, тяжёлые мужские шаги. Это Андрей Николаевич подошёл к крышке подпола, распахнул её и громко так командует мне:

– Пашка, а ну вылезай давай сюда! И не боись, больше никуда отправлять тебя не будем!

Деваться некуда. Выбрался я наверх, тощий, бледный, кудлатый. Рыжеватые и густые волосы мои давно уже не укорачивали – под горшок,



здесь так всех парней обстригают, а поскольку бани в лесу патлы мои тоже не знали, то и превратились они в нечто чудовищно лохматое, ну лучший, ни дать ни взять!

Посмотрел на меня Андрей Николаевич, покряхтел и говорит:

– Ты, Павлуша, не бойся ничего! Договорился я с районом, чтоб нам эту единицу из плана по лесозаготовкам сняли. К тому же у нас в селе сегодня парнишка один умер. Я его в список вместо тебя внёс, задним числом

Уф! Только тут отдышался я, и от души отлегло. Кому в тюрьму-то охота? А за побег с обязательного места работы не миновать бы мне её. Но, как бабушка говорит: «Бог миловал!» – Gott mit Uns!

Посидел Андрей Николаевич у нас ещё немного и ушёл. Спросил напоследок, что слышно от папы и Альки? А от них ни слуху ни духу, ни одного письма до сих пор нет...

Вытащили мы с мамой тюфячок из подполья. Отлегло! И тут стало мне совсем худо, чувствую, в беспамятство впадаю. Руки-ноги почему-то сразу отказали, болтаются как тряпки.

Ольга Васильевна вышла в сени, посмотрела на меня, поправила платок на седых своих волосах и говорит:

– Тащите-ка его к нам в избу, на печку! Его сейчас и долго потом лихоманка бить будет.

Кое-как мама с бабушкой затолкали меня на эту русскую печку – на полати. Вроде и невысоко – по лесенке-приступочке, а еле управилась.

И начал я умирать. Поначалу-то страсть как хорошо мне стало, будто освободился от тела своего, воспарил в воздухе, ликование переполняет! Смотрю сверху на «кожурку» свою, что на полке распласталась: жалкое зрелище – мощи! Вижу, мама внизу на приступке сидит, плачет. Что-то кольнуло меня в бок, туда, где раньше сердце было. С неохотой назад вернулся в тело своё беспомощное. Ощущаю жар страшный и жажду. Но всё это сквозь какой-то смертный сон: не забытьё, а обморок, длинный-предлинный.

Мама пытается напоить меня, но вода в рот почему-то не попадает, мимо льётся. Язык распух, бревно бревном, не повернуть им. Есть ничего не могу, даже вечную бабушкину кашу-затируху. Все чувства умерли, равнодушие полное ко всему и ко всем. Сквозь дрему слышу, фельдшерица сельская пришла. Лоб мой потрогала, огромный волдырь на шее пощупала зачем-то. Потом говорит (маме с бабушкой, видно):

– Надо бы парнишку вашего врачу показать. Но я пятнадцать лет тут работаю, и без него всё ясно. Парень ваш не жилец. Всенепременно померёт. Но тепло ведь ещё на воле-то. Так что в избе вы его, покойного, не оставляйте. Досок у председателя попросите, на гроб, не откажет поди. А похороните рядом с дедом.

Где-то в подсознании возникает:

– Откуда это она про деда узнала? Ведь мы с мамой сами тайком в апреле могилу выкопали, потихоньку, целую неделю копошились.

Ушла фельдшерица. А я продолжаю парить в своем предсмертном тумане, ни на что внимания не обращаю. Вдруг различаю голос Ольги Васильевны, обращённый, как понимаю, к маме:

– Дай-ка, Катерина, я научу тебя, что надо с Павлом-то делать. Он парень добрый, молодой, может, и выживет. Так вот, я буду тебе один стаканчик молока в день давать, неполный, правда, не обессудь, мне и внуков поить надо, они у меня тоже что-то зачихали. А ты молочко-то погрей, растопи и потом остуди, но чтоб оно тёплым оставалось.

Понимаешь, именно топлёное потребно молоко, не иначе. И травки я дам тебе, в молоко это её добавляй. Поить парня надобно через каждый час, помаленьку, с ложечки. Может, и отутобеет.

Мама отвечает:

— Так я же день-деньской на ферме. Не управлюсь с этим. А вот бабушка... Ольга Васильевна, миленькая, ты уж, бога ради, повтори ей это всё!

Хозяйка, надо понимать, не отказала, а уж про бабушку что там говорить!

А пока лежу я себе полёживаю, и такие славные картинки теснятся передо мной в воспалённом моём сознании: волжский берег, горячий речной песок, бахча с зелёно-золотистыми арбузами, наш семейный праздничный стол, где все смеются, песни поют...

Но тут чую, кто-то меня по щеке гладит, за руку теребит, просит «ротик открыть». Приоткрываю глаза – бабуленька! Нехотя, с трудом размыкаю губы, зубы. Затем капельки чего-то горячего, пахучего, ароматного в рот мне льются. И в какую то маленькую щелку в забитом наглухо горле – дальше скользят. Кашляю. Огорчаюсь, зачем меня от таких грёз-красот отрывают!

Опять всё тело начинает ныть болью, знобить, жаром полыхать. И вдруг мысль кольнула, а ты картинку-то вспомни из прежних своих видений! Ту самую: будто стоишь ты рядом с президентом, старым, лохматым. Глаза у него хитрые, татарские. И он тебе (тоже немолодому уже) папку какую-то протягивает и улыбается всем своим багровым лицом. И шутит. А вокруг все смеются и в ладоши хлопают... А умрёшь, так ведь и видение это не сбудется! И не узнаешь, что это за страна такая тебе пригрезилась, и какой это такой Президент.

У нас-то сейчас один Вождь, самый мудрый во всём мире. И после него будут ли другие-то вожди? Какие? Есть же сегодня вокруг него достойные люди помоложе? Может, кто-то из них на смену придёт? Непонятно. Устал я от этих мыслей и уснул.

Но ненадолго. Вновь бабушка меня теребит: «Пауль, дитяtko, открой ротик!» А я опять губы разомкнуть не могу, как будто склеились они и крепко-накрепко. Еле рот приоткрыл, на губах ошмётки кожи болтаются. А тёплое молочко капает помаленьку и уже вроде плотается легче. Жадно впитываю эти крохи и снова забываюсь.

И сплошной лентой пошли новые видения. Вот какой-то ящик с картинками передо мной на столике стоит и словно кино показывает. Иду я, будто бы, по незнакомой дороге, со мной (за руку) ребёнок, совсем крохотный. Продвигаемся мы с ним вдоль длинного синего забора, малыш устал, хнычет, и я говорю ему: «Подожди, Генрих, скоро уже и до нашей дачи дойдём! Попойди ещё ножками немного, у дедушки ручки болят!»

Потом резкая смена кадров: стою я в центре Берлина, у Рейхстага. Как на картинке в каком-то довоенном журнале, только здание разрушено сильно. А часть стены, словно за стеклом, и на ней – русские надписи. Как они там оказались, кто и зачем их начертал, ну совсем непонятно мне, аж до головной боли.

А потом виденья все, как водится, исчезли так же внезапно, как и появились. И провалился я в глубокий сон, как в бездонную яму. Голова вообще отключилась, а тело как бы вновь отделилось от меня, скукожилось, словно лопнувший воздушный шарик и стало дышать само по себе без малейших напрягов с моей стороны.

Пять дней провалялся я так почти в полном беспомоществе. А когда очнулся, чувствую, что лучше мне, гораздо легче. Мама радуется:

– Организм-то молодой – вот и выдюжил, справился. Да и господь нас не оставил милостью своей!

Пришла фельдшерица и лишь головой покачала:

– Чудо! – говорит. – Впервые за всю мою жизнь такое чудо вижу!

Спустили меня с печи, уложили в сених на тюфячок, укрыли потеплее. А через пару деньков начал я уже вставать самостоятельно, ходить понемногу. Слабость невероятная, пройдусь маленько, и пот ручьём, как после тяжкой работы. Передохну, полежу и снова ковыляю, надо поскорее в себя приходиться, семье помогать, иначе – беда!

Посмотрел как-то на себя в зеркало, вижу на голове сбоку небольшая прядочка белых волос торчит. Откуда взялась? Может, мукой где-то запачкал? Так ведь у нас муки-то сейчас никакой нет и в помине! Ладно, поправлюсь окончательно, в баньке голову отмою, да и сам вымоюсь. Поскорее бы только на ноги крепко встать!

А на днях гляжу, бабушка Эмилия в углу на коленях стоит, молитву шепчет по-немецки: «Хвала тебе, Господи (Mein Lieber Gott), что спас дитя невинное от верной гибели!» И дальше – про «доброту Всевышнего», «милосердие – что выше любого подвига». Ну что ж, мне повезло, выжил! И думаю, не столько Божьей помощью, сколько любовью мамы с бабушкой.

А вот как же там папа-то с Алькой? Что с ними? Почему писем нет от них так долго, уже несколько месяцев?

*Окончание следует*